Мария Данилова

ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЙ

Автор — финалистка премии им. Крапивина,
«Автор года» по версии «Подписных изданий»

Люди, которые всегда со мной

Мария Данилова

Двадцать шестой

«Издательство АСТ»

2025

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

Данилова М. С.

Двадцать шестой / М. С. Данилова — «Издательство АСТ», 2025 — (Люди, которые всегда со мной)

ISBN 978-5-17-169938-3

Москва, вторая половина восьмидесятых: очереди, митинги, кооперативы, гласность. В центре повествования пятеро детей, живущих в Юго-Западном районе Москвы, и их родители — научные сотрудники, инженеры, филолог, номенклатурный работник, участковый педиатр. Пока мальчики и девочки ходят в музыкалку, читают взахлеб, влюбляются, болеют, бунтуют, обретают и теряют друзей, всего за несколько лет страна меняется до неузнаваемости. Привычный мир рушится, и героям выпадает строить новый. Новый роман Марии Даниловой — это теплая, ностальгическая история о взрослении в эпоху перестройки, о пробуждении, надежде, преодолении и обретении свободы.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-169938-3

© Данилова М. С., 2025
© Издательство АСТ, 2025

Содержание

Волшебное дерево 6
Урология 17
Гуманитарная помощь 28
Перекличка 38
Конец ознакомительного фрагмента. 44

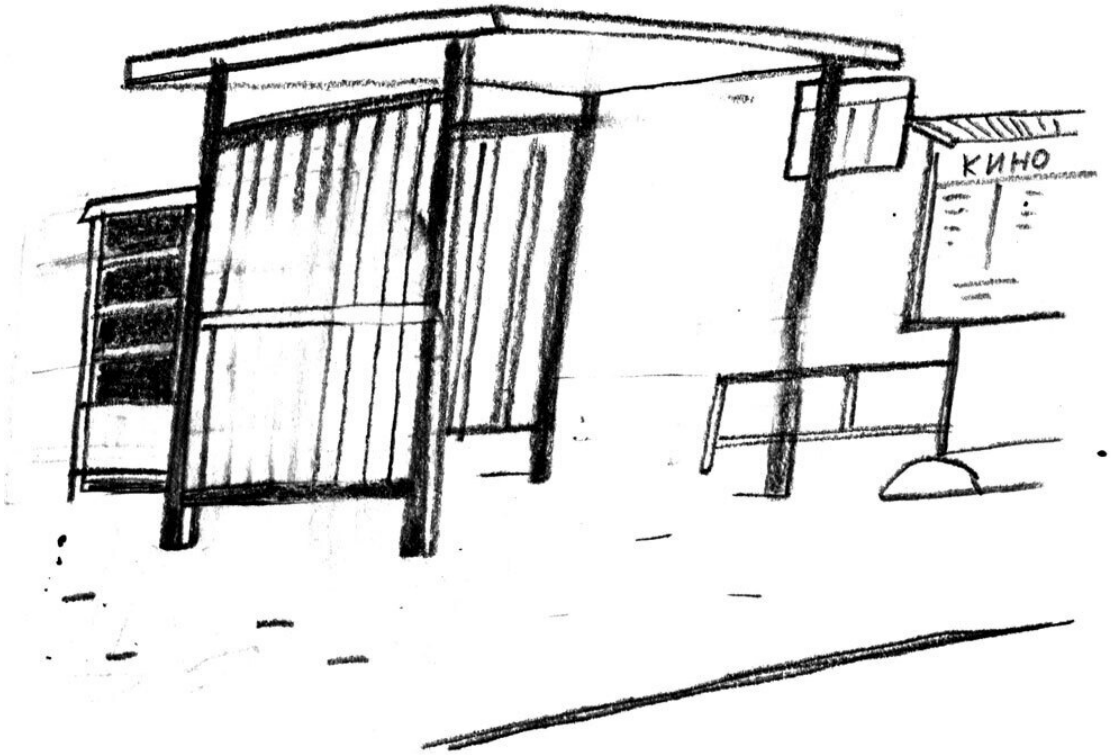
Мария Данилова
Двадцать шестой

© Данилова М., текст, 2025
© Кузьмина Н., иллюстрации, 2025
© ООО «Издательство АСТ», 2025

* * *

Моему мужу Денису и моей сестре Насте

Волшебное дерево



Вслед за Черненко умер Моцарт, и Гриша заболел.

Сначала провалялся неделю в постели с температурой, хотя никаких других симптомов не было, и Марина Юрьевна, строгая врач из районной поликлиники, даже не знала, какой поставить диагноз, только прописала, как обычно, бисептол. Потом Гриша вроде встал, оклемался, но словно потух. Разговаривал мало, не задавал Жене бесконечных вопросов про океан, и космос, и Древний Рим, не улыбался.

Можно сказать, что Гришу вырастил Моцарт, старый рыжий пес, по крайней мере, так любила обронить Женина мама, когда хотела уличить ее в небезупречном выполнении материнских обязанностей. Ребенком-де занимается не мать, а пес: с Моцартом Гриша засыпал, гулял, шел в детский сад, читал, только что не ел с ним из одной миски.

Моцартом его нарекла мама, Светлана Ефимовна, – это был любимый композитор Жениного покойного отца. Овдовела мама давно, еще до Гришиного рождения, но до сих пор не оправилась от потери.

Собственно, это и было мамино условие, чтобы оставить того уже совсем не молодого дворторьера, который однажды забрел к ним на дачу в Малаховке: имя ему даст она, и это будет что-то связанное с Боречкой. Кроме Моцарта, еще рассматривались Стравинский и Шостакович, но Моцарт был все же короче.

Сам пес при этом Моцарта, да и вообще громкую музыку не любил, видимо, была в его дворовой жизни какая-то травма, с этим связанная, и, если мама включала у себя в комнате старый отцовский проигрыватель, Моцарт деликатно уходил на кухню, забивался под стол и сидел там до тех пор, пока мама не выключала музыку.

Скопления людей он тоже не переносил и, когда приходили гости, отсиживался в ванной.

Зато Грише Моцарт позволял делать с собой абсолютно все: таскать за уши, дергать за густую рыжую шерсть – видимо, в роду у него были колли, – кататься у него на спине, даже копаться в миске с едой.

Первые полгода у младенца Гриши были колики, и он надрывался часами, так что у Жени, которая таскала его все время на руках, спина выгнулась, как басовый ключ. И только лежа на взрослой кровати рядом с Моцартом мальчик успокаивался и засыпал, и мог проспать так час, а то и два, окруженный со всех сторон теплым рыжим существом. Моцарт послушно лежал рядом, не двигаясь, охраняя сон вверенного ему маленького мальчика. А если, бывало, у Гриши выпадала изо рта соска, и в полусне он начинал дергаться и возиться и готов был проснуться и снова заорать, Моцарт открывал глаза и своим холодным мокрым носом подталкивал соску к Гришиному рту, тот брал ее, сладко причмокивал и успокаивался.

Светлана Ефимовна, профессор-отоларинголог, доктор медицинских наук, дама аристократичная, если не по происхождению, то уж точно по самоощущению, поначалу протестовала при виде этой картины – пес, причем не какой-то там, а самая что ни на есть дворняга, возлежит на хозяйской кровати, а рядом с ним младенец – в нарушение всех правил безопасности и гигиены.

Но оставшись пару раз с разоравшимся до красноты внуком, Светлана Ефимовна поняла, что другого способа успокоить младенца и правда нет, и сама позвала пса на помощь, только взяла с Жени и Андрея обещание, что никому из друзей и знакомых те рассказывать не будут.

Ходить Гриша научился тоже с помощью Моцарта: сначала вставал, бесцеремонно хватаясь цепкими пальчиками за длинные собачьи уши, потом научился передвигаться по комнате, опираясь на пса, а через пару месяцев уже бегал за ним по дачному участку.

И с детским садом Гришу смог примирить только Моцарт. По утрам, когда Женя с трудом вынимала его сонного из кровати, а потом, вновь заснувшего, стаскивала с унитаза и одевала в сад, только мысль о том, что его будет сопровождать Моцарт, помогала Грише свыкнуться с необходимостью идти в казенный дом и сдаваться на милость злобных теток в белых халатах.

Зимой Женя везла его в сад на санках. К респираторным заболеваниям Женина мама имела профессиональную неприязнь, поэтому Гришу кутали с особым пристрастием. Под меховую шапочку надевалась трикотажная, под шубку поддевался свитер и кофта, когда было совсем холодно, то между колготками и штанами пролегал слой рейтуз, так что ни разогнуться, ни повернуться было нельзя, можно было только сидеть, опершись на спинку санок, и смотреть по сторонам. Андрей, муж, шутил, что в таком обмундировании Гриша был похож на космонавтов Кизима и Соловьева, которые в похожих наверняка скафандрах совершили выход в открытый космос.

Женя бежала быстро, чтобы не замерзнуть, санки резво неслись по снегу, и в лицо Грише, вернее в узкую щелочку между надвинутой на лоб шапкой и натянутым на нос шарфом, брызгал из-под полозьев снег. Было еще темно, в квартирах горел свет, и Гриша любил вглядываться в окна, особенно в те, где свет казался уютным и теплым. И ему тут, на санках, тоже было тепло и уютно, потому что он был закутан в неимоверное количество слоев и потому что рядом бежал верный, любимый Моцарт, а если мама останавливалась, чтобы сделать передышку, тот лизал Грише нос, обдавая горячим дыханием.

В последние месяцы Моцарт стал сильно сдавать, и по тому, как часто он стал промахиваться мордой мимо миски с едой, Женя поняла, что пес почти ослеп. В феврале у него отнялись задние лапы, и теперь два раза в день – до и после работы – Женя с Андреем вдвоем сносили Моцарта с четвертого этажа на улицу, чтобы тот сделал свои дела. Однажды Андрей задержался на работе, и Моцарт не дотерпел: теплая лужа растеклась по коридору. Женя навсегда запомнила этот взгляд, абсолютно человеческий, полный стыда, тоски и мольбы о прощении. Моцарт, дорогой, это ты нас прости…

Женя еще возила его по ветеринарам, надеялась если не продлить ему жизнь, то хотя бы облегчить ее, но Моцарт уже сам все понял и в последние недели старался ни на секунду не отходить от своих любимых, особенно от Гриши.

В тот день, когда страна прощалась с очередной мумией и по телевизору играла траурная музыка и мелькали красные повязки и венки, похоронили и Моцарта. Своей машины у семьи не было, и Женя попросила подругу Тому, у ее отца был старый жигуль. Моцарта завернули в подстилку, на которой он спал, и закопали в лесу, недалеко от дачи.

Гришу не взяли, решили поберечь. В детском саду в тот день плакали трое: простодушная воспитательница Татьяна Сергеевна, которая была уверена, что уж теперь на нас точно нападут американцы, воображала Лена Бурова, которая даже явилась с черными бантами, и Гриша.

Женя уже давно опасалась ухода Моцарта, видя, как стареет пес и как привязан к нему сын. В сущности, кроме Томиной дочки Аси, Моцарт был единственным Гришиным другом, если, конечно, не брать в счет Элли с Железным Дровосеком, Муми-тролля и других книжных персонажей.

Он научился читать в три года – сам, по бабушкиному справочнику по отоларингологии, оставленному ей на кухонном подоконнике. Он торчал дома с простудой, слонялся по квартире, изнывая от скуки. Алфавит к тому времени Гриша уже знал и, открыв бабушкину книгу, принялся отыскивать в ней знакомые буквы. Букв было много, справочник был напечатан маленьким шрифтом, без единой картинки, но чего не сделаешь от скуки, и, посидев некоторое время над книгой, Гриша вдруг прозрел, что заглавные жирные буквы на самом верху первой страницы выстраиваются в словосочетание «болезни глотки» – так была озаглавлена первая часть. Следующий абзац начинался словами «абсцесс заглоточный», и перечислялись симптомы, диагностика, лечение и прогноз заболевания, и тут, конечно, Грише пришлось попотеть. Дальше, согласно алфавиту, следовали абсцесс заглоточный боковой, абсцесс перитонзиллярный и прочие незавидные состояния уха-горла-носа, и с каждой новой кондицией слова разгадывались чуть легче. К концу болезни Гриша уже мало того что бегло читал, но еще и выучил латинский алфавит, сопоставив названия болезней с их эквивалентами на латыни и раскусив, что laryngitis chronica – не что иное, как хронический ларингит.

Но все это было только прелюдией, потому что когда до взрослых наконец-то дошло, что их чадо самостоятельно научилось читать и они подсунули ему настоящие детские книги, оказалось, что смысл чтения заключался вовсе не в кратковременной эйфории, которую он испытывал от разгадки ребуса при прочтении какой-то длинной и заковыристой фразы вроде «пальпация подчелюстных лимфатических узлов», а в долгом, постоянном удовольствии от проникновения в другой, гораздо более интересный и яркий мир, где отправляются в кругосветные путешествия, дерутся на шпагах и находят несметные сокровища.

С тех пор задача всех домашних состояла в том, чтобы отобрать у мальчика очередную книгу и выгнать его на улицу, хоть на часок, хоть на двадцать минут, туда, где гоняли мяч его румяные и крепкие сверстники, не зараженные вирусом чтения.

Очень быстро дома закончились книги, которые Гриша мог прочесть самостоятельно – «Буратино», «Чиполлино», «Карлсона», «Хоттабыча», – и глаза уже засматривались, а руки тянулись к «Библиотеке приключений». Если какая-то книга шла тяжело, Женя читала Грише вслух, а второй раз он уже перечитывал сам. Читал он запоем, открывал книгу и мгновенно проваливался, исчезал в другом измерении – в изумрудном городе, в индийских джунглях вместе с Маугли, в заснеженных юртах сказок народов Севера. Чаще всего Гриша усаживался в углу большой комнаты, на топчане между книжным и платяным шкафом, положив книгу на согнутые колени как на пюпитр. Рядом обычно дремал Моцарт, охраняя мальчика от домочадцев, которые вечно от него чего-то хотели: то зазвать на ужин, то выпроводить на улицу,

то приобщить к домашним делам. Это свое место, в котором было так уютно и удобно читать, Гриша прозвал удобом.

Кроме художественных книг, в ход шли энциклопедии, атласы, журналы, которые выписывали родители, – и даже стопка «Науки и жизни» семидесятых годов, найденная на антресолях.

Потому-то у Гриши и не было друзей: внутренний мир его был куда богаче того, что ему могли предложить сверстники. Его совершенно не привлекали обычные мальчишеские забавы – салки, вышибалы, войнушка, – не приводила в восторг железная дорога с поездами и синим, со свистком паровозом, за которым вечно стояла очередь в группе, не интересовал пластмассовый пистолет, который мальчишки отыскали в оттаявшей по весне песочнице, а потом подрались, потому что каждый хотел оставить его себе. И дети в большинстве своем отвечали Грише взаимностью – предпочитали не связываться.

Старшую воспитательницу Нину Петровну страшно раздражал этот умник, который постоянно норовил удалиться в самый дальний угол группы, сесть там за ширму для кукольного театра и читать, пока другие дети лепили уточек из пластилина или разучивали стишки для праздничного утренника. Однажды его так потеряли. Гриша занял свое любимое место за ширмой, открыл книгу и пропал. Он не слышал ни оклики нянечки, которая звала детей одеваться на прогулку, ни крики воспитательниц, порядком испугавшихся, когда недосчитались Школьника, ведь утром он точно пришел, это все видели, еще долго не мог найти в раздевалке вторую чешку, и где же он тогда мог быть.

Очнулся Гриша, только когда из-за раздвинутой ширмы показался огромный бант Буровой и ее довольная физиономия.

– Он тут, Нина Петровна! – закричала Бурова. – Школьник тут!

Ему, конечно, досталось. Озверевшая Нина Петровна выволокла Гришу за шиворот и кричала, что он чуть не довел ее до инфаркта, и что она сейчас отведет этого паршивца к директору, и там ему устроят. Но после того, как страсти улеглись, Татьяна Сергеевна, которая была помоложе и подобрее, нашла Гришиному книжному недугу достойное применение. Теперь они сажали всю группу на детские стульчики полукругом, Гришу устраивали перед ними на высокой табуретке, и, ссутулившись, он читал – перед тихим часом, после тихого часа, после полдника, а иногда даже и вместо прогулки, освободив таким образом воспитательниц для упоительного трепа.

Сначала Нина Петровна попробовала подсунуть ему стандартный репертуар про Ленина, чернильницу и бревно, но аудитория не оценила – девочки ерзали на стульях, мальчишки принялись драться, и воспитательницам пришлось их разнимать. Тогда Гриша принес из дома «Сказки народов Востока», сиреневый томик шестьдесят седьмого года издания, который сам уже прочитал вдоль и поперек.

Сюжеты были похожи на русские народные сказки: все гнались за богатством, красивой невестой и вечной молодостью. Но вместо царя здесь был падишах, вместо Кощея – джинн, а транспортным средством взамен сапог-скороходов служил волшебный ковер. Дети замирали, слушали во все уши, и воспитательницы могли заниматься своими делами. Гришу зауважали.

Ему не исполнилось еще и пяти лет, но Жене было уже сложно поддержать с Гришей разговор. Если в художественной литературе она еще ориентировалась, спасибо филфаку, то в географических изысканиях сына терялась. Больше всего Гришу почему-то интересовали страны Океании – Вануату, Палау и Кирибати, – и, едва проснувшись, он обрушивал на нее поток сведений, почерпнутых в Большой советской энциклопедии, которая стояла у родителей в комнате аккурат возле удоба. Гриша рассуждал о численности населения, местной валюте, подводной почте, гигантских моллюсках и более чем ста разновидностях акул, так что невозможно было даже почистить ему зубы, потому что вместе с фактами изо рта выплевывалась и щетка.

Но удивительным образом Гришины способности распространялись только в определенных направлениях. Его совершенно не привлекала ни математика, ни точные науки, и все книги Перельмана, Сканави и приключения Кубарика и Томатика, которые ему пытался подсунуть Андрей, не вызывали никакого интереса. Даже в «Науке и жизни» Гриша читал в основном статьи про историю, географию и археологию.

В одном из таких старых и пыльных номеров семидесятого года Гриша наткнулся на интервью с Ботвинником и попросился на шахматы. Женя записала сына в секцию в Дворец пионеров и была уверена, что Гриша в очередной раз поразит всех – разве не из таких умников, книжных червей вырастают гроссмейстеры?

Поначалу Гриша и вправду покорил руководителя секции, доброго старичка-пенсионера с густыми бровями, поведав всей группе, что шахматы берут свое начало от индийской игры чатуранги, которая была заимствована персами, а потом распространилась в арабском халифате, после чего перешла к европейцам.

Но суть игры Гриша никак не мог уловить, вернее не хотел. Он не просчитывал ходы, игнорировал приоритетность фигур и все, чему с таким восторгом учил преподаватель – сквозные атаки, двойные связки, сицилианская защита, – пропускал мимо ушей. Гриша смотрел на шахматную доску и видел героев со своими судьбами и чаяниями, как в книгах, которые читал, и эти судьбы отнюдь не всегда укладывались в предлагаемые ему алгоритмы. И если в целом Гриша был согласен с тем, что своего короля нужно спасти, а чужого, наоборот, захватить, когда дело доходило до игры, он постоянно отвлекался на второстепенные сюжетные линии.

– Да что ж ты делаешь, милый мой? – разводил руками преподаватель. – Ты поставил под удар своего ферзя.

Но Гриша стоял на своем.

– Зато ход красивый.

Через несколько недель руководитель секции отвел Женю в сторону и, потирая плешь на затылке, пробормотал извиняющимся тоном:

– У вас очень одаренный мальчик. Но ему нужно куда-то в другое место – может, при библиотеке что-то есть или какой-то театральный кружок?

Женина мама была решительно против.

– Какой ему театральный кружок, – возмущалась она, затягиваясь сигаретой. – Он и так постоянно витает в облаках, мечтает невесть о чем – весь в мать.

Женя действительно все время мечтала, только уже сама не понимала, о чем.

Она работала в крупном издательстве, была там на хорошем счету, и все бы было хорошо, но жизнь проходила мимо.

Работа эта подвернулась Жене случайно, ее сосватала сюда подружка с филфака, которая уходила в декрет, а Женя как раз из декрета выходила и искала что-то временное, пока не подрастет Гриша. Редакция располагалась очень удобно, три остановки на метро по ее ветке, что было большим плюсом – Андрей, например, мотался в институт на другой конец Москвы с двумя пересадками. А один раз в неделю тексты и вовсе можно было брать на дом и в редакцию не приезжать.

Поначалу предполагалось, что Женя будет работать редактором в отделе иностранной литературы, но в последний момент планы наверху перекроили, кто-то кого-то потеснил, и Женино место забрал себе общественно-политический отдел, а Жене предложили корректорскую ставку. Она поколебалась, но все-таки пошла, потому что полагала, что проработает здесь недолго, пока Гриша не привыкнет к саду, а она не найдет что-нибудь по душе.

И вот уже третий год Женя сидела в тесной корректорской на первом этаже издательства и вычитывала, сверяла, сводила и правила тоску смертную: брошюры об успехах передовиков животноводства в Алтайском крае, пособия по политической работе среди водителей автобазы

№ 1 Липецкого стройтреста, отчеты о борьбе за успешное выполнение планов и обязательств последнего года пятилетки. Иностранной литературы им перепадало совсем мало, тот отдел почему-то предпочитал работать с внештатными корректорами.

Хуже всего были еженедельные информационные бюллетени, которые направлялись в библиотеки партийных комитетов по всей стране и вряд ли вообще открывались кем-либо после того, как их вычитывала Женя. Тексты эти были написаны таким казенным, таким железобетонным языком, что у Жени сводило челюсть: в обстановке высокого политического подъема, под знаком мобилизации всех резервов, в авангарде социалистического соревнования, обеспечение ритмичного выполнения задания по укреплению. Ей хотелось добежать до редакторской в конце коридора, заколотить в дверь и прокричать, что ни один человек не разговаривает так, даже роботы и те наверняка изъясняются более живым языком. Она, Женя, уж точно отредактировала бы лучше, да господи, она бы написала лучше.

Женя писала с тех пор, как себя помнила. Маленькой толстощекой девочкой она расхаживала по квартире с блокнотом и ручкой, наблюдала за домочадцами и записывала происходящее. Любая прогулка во дворе, любой поход в зоопарк с отцом или в театр с мамой, даже проезд в общественном транспорте, то еще событие, – все находило отражение в Жениных очерках. В темноте зрительного зала, перед клеткой гориллы или облокотившись на заиндевелое окно трамвая, Женя сосредоточенно водила ручкой по бумаге, фиксировала увиденное. Хотя зимой она носила с собой простой карандаш – на морозе чернила замерзали.

Еще Женя задавала вопросы. Начиналось все с обычных детских почемучек – почему нужно спать, почему небо нельзя потрогать, что означают цифры в головке сыра, – а потом пошли более серьезные темы: почему папа слушает радио на сломанной спидоле, которая все время шипит и булькает, так что почти ничего не слышно, хотя на кухне есть другой приемник, исправный, по которому передают музыку, или почему, когда маме дали от больницы путевку в Болгарию, она не взяла с собой папу и сказала тете Эммочке, что двоих не выпустят – а кто не выпустит и почему? Родители отвечали уклончиво, обещали объяснить все, когда Женя чуть-чуть подрастет, а пока что заклинали ее ни о чем таком за пределами дома не заговаривать.

Однажды в трамвае она заметила усатого дядьку, сидящего на месте, предназначенном для беременных женщин, лиц пожилого возраста и инвалидов. На беременную женщину тот похож не был, для пенсионера – слишком молод. Женя подошла к нему, придерживаясь одной рукой за поручни, а в другой сжимая блокнот, и без каких-либо расшаркиваний, но при этом все же вежливо и учтиво, спросила:

– Скажите, пожалуйста, вы инвалид?

– Чего? – нахмурился дядька. – Нет, не инвалид я.

Женя чиркнула что-то в блокноте.

– А почему же вы сидите на этом месте?

Когда к родителям приходили гости, Женя забиралась с ногами на кресло, стоявшее в большой комнате в углу, и, положив тетрадь на согнутые мостиком колени, точно так же как Гриша сидел на удобе, конспектировала сказанное. Мама смеялась:

– Женя у нас журналистом будет. Смотрите, как она всех нас взяла на карандаш.

Гости соглашались, поднимали бокалы, пили за Женино блестящее будущее, а Женя записывала: «Журналист. Чокаются. Пьют вино».

Но когда в конце девятого класса зашла речь об институте, и Женя обронила, что на журфак, кроме обычных экзаменов, нужно пройти еще какой-то творческий конкурс, мама опрокинула на нее ушат холодной воды.

– Какой журфак? – ужаснулась она. – Окстись, Евгения! Мы в какой стране живем. Ты в газетах хоть слово правды видела? А по телевизору? Разве что прогноз погоды, да и то вечно обещают солнце, а потом как ливанет…

Женя глядела ошарашенно, глаза ее заблестели.

– Да ты что, Женюш, даже не думай, – смягчилась мама. – Врать с утра до вечера ты и сама не сможешь, даже если очень постараешься. Смотри на меня, я удаляю гланды, ковыряюсь в носах – может, не предел мечтаний, зато от всей этой дури подальше.

– Мам, а почему же вы мне раньше это не сказали? – возмутилась Женя, еле сдерживая слезы. – Пап, почему?

– Мы шутили, Жень, это ж очевидно, – пожал плечами папа. – Мы были уверены, что ты сама все понимаешь, умная девочка.

Женя побежала рыдать в свою комнату. Она чувствовала себя глубоко обманутой, преданной. Почему они сказали только сейчас? Почему разрешили ей мечтать все эти годы? Зачем называли ее журналистом?

Что ей оставалось? Ни к медицине, как мама, ни к точным наукам, как отец, пока еще живой, но уже перенесший первый инфаркт, никакой склонности Женя не имела, она была гуманитарием до мозга и костей, так что на семейном совете, который на самом деле был не советом, а скорее маминым монологом, было решено, что Женя будет подавать документы на филфак, самое близкое к осрамленному журфаку.

Женя поступила на классическое отделение и училась, надо сказать, с удовольствием, даже с азартом, может, и права была мама. Запоем читала все немыслимые филфаковские объемы от Еврипида до Вергилия, от которых другие студенты только стонали, выучила латынь, древнегреческий и новогреческий и диплом по поэзии Горация написала блестяще. Завкафедрой прочил ей большое научное будущее, но аспирантуру пришлось отложить: Гриша уже был на подходе.

И вот теперь Женя скользила по строкам цепким натренированным взглядом и вылавливала опечатки, повторы, расставляла на полях корректорские значки, лишь очень отдаленно напоминавшие греческий алфавит, – замена, выкидка, вставка, перенос, курсив, абзац, – один авторский лист за другим. Так получилось.

Дни были похожи друг на друга, и единственным развлечением на работе были перебранки между двумя старшими корректорами – Ириной, надменной дамочкой с филфака, которая на первом курсе вела у Жени семинар по практической стилистике, и Вероникой, крепкой во всех отношениях теткой из менее престижного полиграфического. Спорили они яростно – о расстановке запятых, дефисе и многоточии. Последний раз схлестнулись из-за словосочетания «вместе взятое», которое, по Ирининому мнению, обособлять было ни в коем случае нельзя, так как это устойчивое выражение. Вероника же трясла в воздухе справочниками Розенталя и кричала так, что в коридоре было слышно, что не обособить будет просто преступлением.

В издательстве, конечно, были неоспоримые преимущества. Зарплата младшего корректора была ерундовая, впрочем, как и везде, и на пару сапог в «Польской моде» Жене пришлось копить несколько месяцев, но зато давали путевки в профсоюзный санаторий в Адлер, недорогие, а Грише так вообще бесплатные, продуктовые наборы раз в месяц, в которых попадалась печень трески и минтаевая икра. Если Гриша болел, очень выручали домашние дни.

Научный руководитель звал было Женю вернуться в университет, но Гораций ее больше не интересовал. Поначалу Женя еще мечтала найти другую работу, потом – хотя бы получить в издательстве редакторскую ставку, но ставки все не было, или, может, Женя была недостаточно настойчива в своем поиске. А последнее время она уже ни о чем не мечтала, а просто смотрела в окно, наблюдала, как семенили по своим делам прохожие, стремились куда-то в отличие от нее, и набиралась сил и терпения, чтобы приступить к очередному информационному бюллетеню.

Выздоровев после затяжной непонятной болезни, Гриша пошел в сад один, без Моцарта, и это был уже совсем другой ребенок.

Он совсем замкнулся в себе и только и делал, что читал. Если раньше он говорил не переставая, обсуждая с Женей прочитанное, то теперь общался неохотно, скрываясь от всех в удобе с книжкой в руках. Смеялся он редко, а если и улыбался, то совсем тускло, и на щеках больше не играли ямочки.

Женя все думала, чем же можно порадовать мальчика – день рождения еще не скоро, и до Нового года еще далеко. Она даже сама не поняла, как ей пришла в голову эта идея про волшебное дерево – видимо, просто очень хотелось чуда. Андрей затею одобрил, а вот мама, как всегда, скривила лицо и в очередной раз известила Женю о том, что потакание ребенку ни до чего хорошего не доведет.

Теперь по пятницам, когда Женя забирала Гришу из садика, они шли не прямо, как обычно, домой, а сворачивали налево, где вокруг пруда был разбит небольшой парк. Гриша сразу вырывался из рук и бежал к самому дальнему дереву, большому, развесистому клену. На самом деле это были даже два дерева, два ствола, сросшиеся у корня, и поэтому еще лучше подходили для Жениного замысла.

– Мама, мама, давай быстрей! – кричал Гриша. – Я уже тут.

Женя прибавляла шагу, становилась рядом с сыном, брала его нетерпеливую руку в свою и слушала, как он торжественно, будто со сцены, произносил волшебные слова.

– Дорогое волшебное дерево! Я обещаю, что буду слушаться маму, папу и бабушку! Подари мне, пожалуйста, какой-нибудь подарок.

Он снова вырывался из Жениной руки и начинал шарить под деревом, искать. С первого раза он ничего не находил, страшно расстраивался, и тогда Женя советовала ему посмотреть, например, вон там, чуть поодаль, в траве, или, может, за камнем, вон смотри, а вдруг там что-то лежит? Гриша сразу же бежал по подсказке, и у Жени образовывалась пара секунд, чтобы присесть и, заведя руки за спину, аккуратно подложить под дерево какой-то подарочек: шоколадку, набор воздушных шаров, а если уж очень везло и она успевала заскочить во время обеденного перерыва в «Продукты» около работы, то пачку апельсиновой жвачки в оранжевой упаковке.

Гриша возвращался под дерево несолоно хлебавши, уже готовый расплакаться, а потом «Ой, мам, смотри!», и находил на самом видном месте сюрприз.

Радость, правда, быстро выветривалась, и когда они доходили до дома и шоколадка была съедена, или же все пять пластинок жвачки изжеваны, мальчик снова мрачнел.

– Мам, нет никакого волшебного дерева, – говорил он, нахмурив брови и сжав кулаки. – Это ты все подарки подкладываешь.

– Ну ты же видел, что я ничего не подкладывала, я стояла рядом с тобой.

– Значит, папа или кто-то еще. Мы вчера на прогулке ходили на пруд, я повел всех к волшебному дереву. Мы под ним целый час стояли, просили, волшебные слова говорили, но никаких подарков не было, и надо мной все смеялись… Нет никакого волшебного дерева, – повторял он, залезал на свой удоб и закрывался от всех книгой.

Как-то перед Новым годом Женя вышла с работы и увидела возле «Продуктов» длинную очередь, которая тянулась аж до конца здания. Давали бананы. Бананы! Для Гриши!

Она встала в хвост очереди, ей сразу же всучили ручку и велели записать на руке свой номер. Чернила, конечно, от холода замерзли, ничего не выходило, очередь ругалась, пока наконец высокий мужчина в черном пальто, вставший за Женей, не вынул из своего потертого дипломата фиолетовый фломастер. Ледяными от холода руками Женя написала на тыльной стороне ладони число 62.

Почти час простояла она на морозе, заледенела и все гадала: повезет – не повезет, достанется – не достанется. Когда наконец подошла очередь, выяснилось, что бананов осталось всего три связки, и Женя постыдилась взять больше одной, пожалела мужчину с фломастером.

Дома она положила бананы в кастрюлю, в самый дальний и темный угол шкафа, на дозрев. Андрея с мамой предупредила, чтобы бананы никто не ел и ни в коем случае Грише не показывал.

Первой мыслью, конечно, было приберечь их до Нового года, но за десять дней они бы перезрели, испортились, так что Женя решила, что бананы Грише подарит волшебное дерево.

В тот день она забрала его пораньше – нужно было съездить в поликлинику. Перед тем как зайти в сад, Женя свернула к пруду и, убедившись, что вокруг никого нет, положила связку спелых уже бананов в сугроб под ничего не ведающий о своих волшебных свойствах клен, припорошила сверху снегом, чтобы не было видно, и со всех ног побежала в садик – боялась, что найдут, и тогда пиши пропало.

– Как он сегодня, Татьяна Сергеевна? – Женя задала воспитательнице уже ставший дежурным вопрос.

– Да все так же: сидит за ширмой, читает, даже елку наряжать не захотел.

Женя только вздохнула в ответ.

Как всегда, она запарилась в раздевалке, пока ждала Гришу. Он долго не шел к ней, потому что пребывал в джунглях, где Маугли как раз похитили бандерлоги, и того нельзя было оставить одного в такой опасный момент, потом одевался, искал шарф, никак не мог попасть ногой в сапог. А Женя все подгоняла, боялась, как бы не украли бананы.

Когда дошли до пруда, уже стемнело. Клен стоял по колено в сугробе, и в свете фонаря снег под ним блестел и переливался.

Гриша еще издали протараторил волшебные слова, быстро обнаружил то место, где сугроб лежал неровно, подошел, аккуратно раздвинул варежками снег и застыл. Несколько секунд он стоял как вкопанный, не двигался и, как показалось Жене, даже не дышал. Наконец он нагнулся и выудил из-под снега связку бананов.

– Мама, смотри – бананы! – полушепотом проговорил Гриша. – Зимой!

– Вот это да!

– Настоящие бананы! Это волшебное дерево, точно, оно!

Женя смотрела, как радовался мальчик, и не могла нарадоваться сама, только надеялась, что он не съест все бананы сразу, а растянет удовольствие. В связке было семь штук, если есть по банану в день, то хватит на целую неделю, почти до Нового года. А там уже праздники, елка, Дед Мороз.

Гриша, словно угадав ее мысли, прижал бананы к своей коричневой шубке, которая становилась ему маловата – Женя уже несколько раз собиралась съездить в «Детский мир», но все никак не было времени, – и сказал серьезным тоном:

– Я не сразу, я потом.

Медленным шагом, чтобы продлить радость момента, они брели до трамвайной остановки, и Гриша все бормотал себе под нос:

– Бананы. Зимой. Зимой. Бананы.

Он даже не вспомнил о том, что в поликлинику они ехали не от хорошей жизни, а чтобы сделать прививку, и что утром из-за этого были слезы.

Им повезло, трамвай приехал из двух вагонов, и Жене даже удалось сесть – на одно из трех сидений в самом конце вагона, около таблички с цифрой «26», примерзшей к заиндевевшему стеклу. «Как в очереди за бананами, только наоборот», – подумала она.

Гриша встал рядом. Он стянул варежки – те повисли на резинках, как игрушки на елке, – и, выбрав самый зрелый банан, принялся счищать с него кожуру. Потом сделал глубокий вдох, зажмурился зачем-то и откусил.

– Так вкусно, мам, – сказал он, открывая глаза. – Какое доброе волшебное дерево. Как оно только нашло бананы зимой.

Женя улыбнулась. Волшебное дерево очень долго стояло в очереди, ответила она про себя, с номером на руке, чуть ноги не отморозило, потом долго отогревало их в метро, как же больно было. Но теперь волшебное дерево страшно радо.

Гриша тем временем торжественно отдал Жене кожуру и оторвал от связки еще один банан. Ну хорошо, еще один, решила Женя, пусть съест еще один. Останется пять – на пять дней.

– Мам.

Женя вопросительно посмотрела на сына.

Гриша застыл, видимо, размышляя о чем-то, а потом медленно, несмело протянул ей банан.

– Это мне?

Гриша молча кивнул, и Жене показалось, что по его лицу пробежало что-то знакомое, светлое, из той жизни, до болезни, когда был Моцарт.

Женя была страшно голодна, сегодня они сдавали очередной бюллетень, их подгоняла типография, и на обед удалось перехватить только залежалую булку, которая валялась в ящике стола уже несколько дней. Вдобавок Женя обожала бананы и не помнила уже, когда ела их последний раз, да и те были сушеные.

– Ешь сам, родной. Это тебе дерево подарило, – улыбнулась Женя и чмокнула его в еще не успевшую согреться щеку.

– Ну и повезло же тебе, мальчик, – в их разговор вдруг встряла немолодая женщина в сером пальто и вязаной розовой шапке, сидящая справа от Жени. – Бананы ешь!

Гриша посмотрел на нее, пожал плечами, а потом протянул ей тот банан, от которого только что отказалась Женя.

– Ой, спасибо, – заулыбалась женщина, обнаружив по бокам серебряные зубы. Она проворно взяла из Гришиных рук банан и сунула его в сумку. – Я своему внуку дам, он обрадуется.

– Хорошо, – кивнул Гриша.

«Ничего хорошего, – мысленно возразила Женя. – Я для тебя в очереди стояла, для своего ребенка, а не для чужого. Пусть эта бабушка сама попробует бананы достать в декабре!»

Но Гриша ни о чем таком не догадывался. Он взял поредевшую связку и, даже не посмотрев на Женю, двинулся вперед по салону трамвая, слегка шатаясь от движения и хватаясь свободной рукой за поручни.

– А вы хотите банан? – спросил он у смурного бородатого мужчины в пыжиковой шапке.

Тот ухмыльнулся.

– Ну давай.

«Гриша, пожалуйста, не надо, – взмолилась у себя в голове Женя. – Ну внуку еще куда ни шло, но этому-то зачем? Себе оставь, Гриша, себе!»

Гриша сделал еще несколько шагов.

– А вы? – Он остановился около мамы с девочкой, которая опиралась на стоящие вертикально санки. – Угощайтесь.

– Ой! – крякнула девочка, не поверив своему счастью.

– Берите, берите. – Гриша вручил каждой из них по банану и пошел дальше.

– А мне можно? Я тоже хочу, – крикнула девочка в серой шапке с пушистыми помпонами, сидящая через проход.

– Наташа, это неприлично, – одернул ее папа.

– Ничего, ничего, бери! – Гриша оторвал еще один банан. – Этот, правда, еще немного зеленый.

«Последний банан, – изнывала Женина душа. – Гришенька, оставь его себе, пожалуйста!»

Гриша оглянулся и, видимо, не нашел никого достойного последнего банана. У Жени отлегло от сердца.

В этот момент шершавый голос диктора объявил по громкоговорителю: «„Улица Винокурова“. Следующая остановка – „Улица Шверника“».

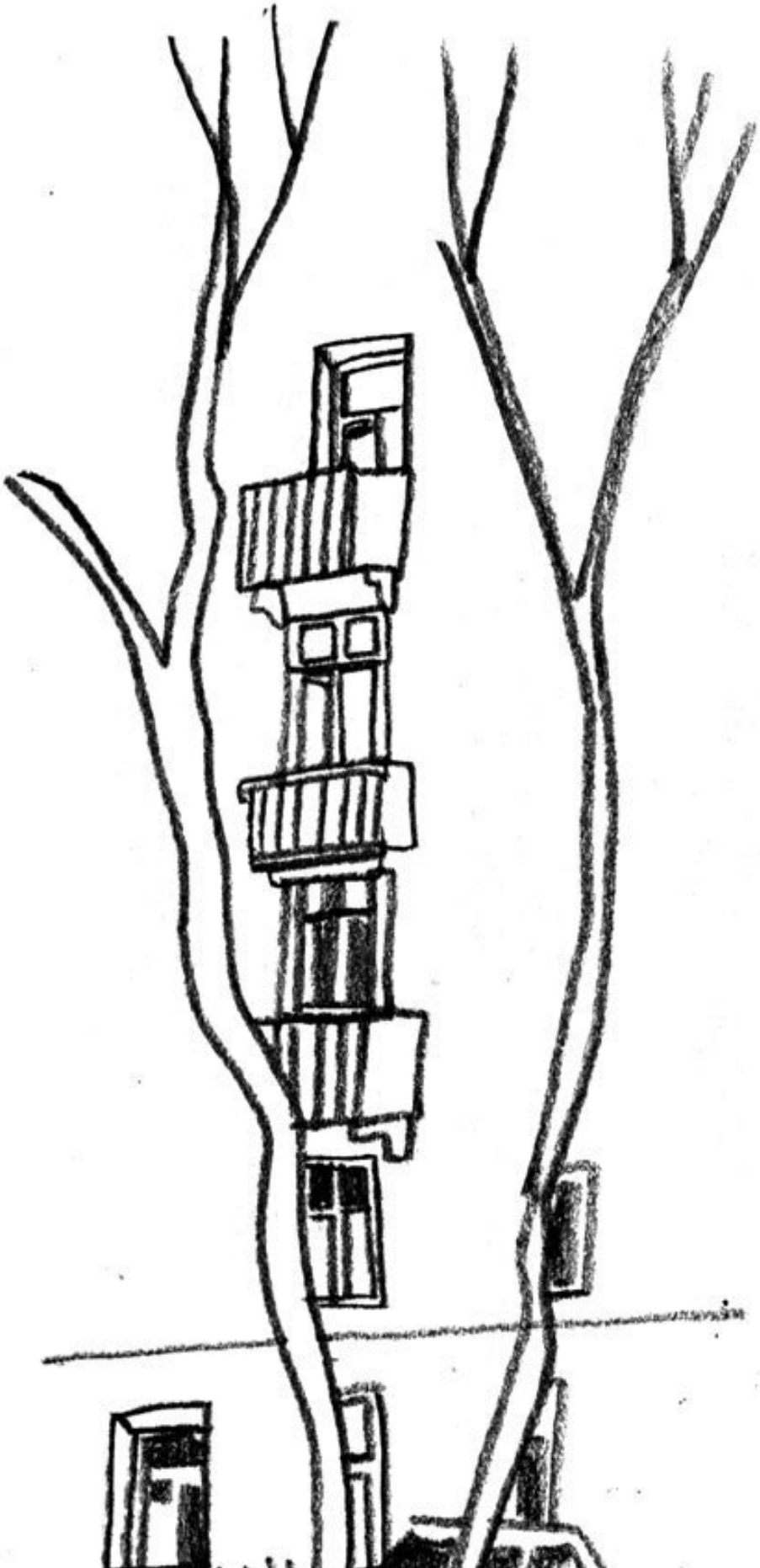
Двери трамвая с шипением разъехались. Пыхтя и бубня что-то под нос, в салон поднялся старый-престарый дедушка с палочкой. Он выглядел таким замерзшим и обессилевшим, что ему сразу же уступили место.

Женя вздохнула. Судьба последнего банана была решена.

– Вот, возьмите, – сказал Гриша старику, положил банан ему на колени, развернулся и направился к маме.

Он шел к ней бодрыми шагами, ее сын, худой мальчик в куцей шубейке, у которого не осталось ни одного банана. Но он улыбался давно забытой улыбкой, с ямочками, и Женя улыбалась ему в ответ.

Урология



– Институт педиатрии, – гаркнула Валя в телефонную трубку. – Урология слушает.

Маша стояла в утренней очереди на анализы, сжав правую руку в кулачок и выставив вперед безымянный палец. На плечах у нее была накинута цигейковая шубка, а на голове повязана узлом белая косынка, выданная в отделении, – батареи здесь были еле теплые, а от окон дуло, даром что лучшая педиатрическая больница города.

На столе перед медсестрой Валей высились стеклянные пробирки и пипетки, толстая бутылка со спиртом из оранжевого стекла, облако ваты в медицинской ванночке и, самое страшное, – лоток с перышками для забора крови. Но на него лучше было не смотреть.

Маша глядела на Валю исподлобья, глазами, полными ненависти, стискивая за спиной второй, свободный кулачок. Это был их своеобразный поединок, можно сказать дуэль.

Первые несколько дней Маша плакала, упиралась, выдергивала руку, когда Валя нацеливалась на нее этим перышком, будто кинжалом или шпагой. А потом усвоила: себе же хуже. Убежишь, Валя все равно догонит, зажмет между огромных грудей, проколет палец почти до кости, а потом зарычит: «Не реви!»

Усвоила, но не смирилась. Каждое утро становясь в очередь, она обещала себе, что уж в этот раз точно не заплачет, не доставит Вале такого удовольствия. Но, увы, не получалось. Валя хватала ее палец своей толстой лапищей, вонзала в него острие перышка, и хоть Маша больше не сопротивлялась и стояла молча, с гордо протянутой рукой, слезы предательски бежали по щекам. Валя сжимала подушечку пальца что есть мочи, специально, точно специально, чтобы сделать побольней, под Машины всхлипы медленно вырастал шарик крови, и Валя высасывала его с помощью стеклянной трубочки. Кровопийца.

– Ну чего ревешь-то?

«Ничего, – утешала себя Маша, свободной рукой смахивая с лица слезы. – Завтра точно получится. Ни одного звука, ни одной слезинки, нужно только побольше воздуха набрать. Вале назло. Всей больнице назло».

После анализов был обход. В палату заходил заведующий отделением Игорь Фёич – так его называли дети. Игорь Федорович был невысокого роста, с усами, в белом халате и высоком колпаке, будто повар. Девочки сидели по струнке на своих кроватях, смиренно сложив на коленях руки, и смотрели на него с надеждой: выпишет, не выпишет?

Игоря Фёича дети не любили, конечно, боялись, но не ненавидели, как Валю. Сам он никогда не делал с ними ничего дурного – только беседовал, шутил, делал какие-то пометки у себя в папочке и вполголоса бормотал что-то неразборчивое Вале. А потом уж Валя, как палач, выполняла всю грязную работу: уколы, таблетки, процедуры. Как палач, влюбленный в свою профессию.

Соседки по палате робели перед Игорем Фёичем, сидели молча, и только Маша всегда встречала его одним и тем же громким приветствием:

– Игорь Фёич, вы отпустите меня сегодня домой?

– Отпущу, – неопределенно кивал Игорь Фёич. – Когда хорошие анализы будут, сразу отпущу.

Так он говорил изо дня в день уже почти месяц, но все никак не отпускал.

А кто был во всем этом виноват? То ли Ленин, то ли Миша Батон.

Тот день перед ноябрьскими праздниками не задался с самого начала. В саду готовили утренник, и девочкам велели прийти в белом: белых рубашках, белых колготках, белых бантах. Юбка разрешалась любого цвета, так уж и быть. Рубашку с горем пополам мама нашла, наспех погладила, бант тоже отыскали, а вот белых колготок – чистых – не обнаружилось, только синие. Мама стала натягивать их на Машу, но та закатила истерику, в этом она была мастер, и мама пошла рыться в корзине с грязным бельем. Белые колготки, которые она отко-

пала на самом дне, были уже хорошо поношенные: они пузырились на коленях, а на левой ноге, сзади, алело пятно от вишневого компота, которое Маша посадила на прошлой неделе, большое – как отметина на лысине у Горбачева.

Маша выхватила из маминых рук колготки и посмотрела на маму так решительно, что та сдалась. Белые так белые. Пятно застирали на скорую руку в раковине, высушили утюгом, но поскольку колготки высохли не до конца, мама настояла на рейтузах. Маша трезво оценила ситуацию, поняла, что битву за рейтузы, вернее против них, она сейчас уже не выиграет, и покорилась. Когда они уже стояли в прихожей, готовые выйти, и мама наспех красила перед зеркалом губы, Маша вдруг вспомнила:

– Мам, а цветы?

– Какие цветы?

– Ну помнишь, Татьяна Сергеевна сказала принести букет. Семидесятая годовщина Великого Октября. Будем Ленину цветы возлагать.

– Ой, – поморщилась мама. – Забыла.

– Что же теперь делать?

– Ничего не делать. – Мама махнула рукой. – Перебьется Ленин.

– Лен, ну что ты при ребенке, – покачал головой папа. – А если она это в саду ляпнет?

– Да уже можно… Все, пошли. Бегом, бегом!

Маша вроде уступила, согласилась идти без цветов и бодро зашагала в сторону сада, но на здании аптеки увидела красные флажки, трепыхающиеся на холодном ноябрьском ветру, и поняла, что Ленин не обойдется.

– Я не пойду! – закричала она и остановилась посреди улицы.

Мама, не первый год знакомая с Машей, посмотрела на дочь, которая для пущей убедительности принялась топать ногами, и поняла, что тянуть ее бесполезно. Сделав глубокий вдох, мама приготовилась к долгим, изнурительным переговорам.

– Маш, ну пошли, пожалуйста. Я и так все время на работу опаздываю.

– А если сегодня Тэтчер? Она будет ругаться. Я без цветов не пойду!

– А дома ты как будешь? Одна? Нет. Давай лучше объясню все Нине Петровне, скажу, что это моя вина, что я забыла.

– Ты про чешки на утреннике ей тоже объяснила. – Маша вырвала свою руку из маминой. – А она все равно на меня накричала.

В саду у Маши было две воспитательницы. Одна, Татьяна Сергеевна, крашеная блондинка лет тридцати в голубом халате, была если не добрая, то по крайней мере беззлобная. Она могла и прикрикнуть, и шлепнуть, но была хохотушка-веселушка, и дети к ней тянулись. Вторую воспитательницу все боялись. Нина Петровна была постарше, носила белый халат и суровое лицо и, сверкая золотыми зубами, при малейшем непослушании пугала детей тем, что пошлет в ясельную группу мыть горшки или, что было еще страшнее, отдаст в соседний подъезд, на пятидневку. За это Маша прозвала ее Маргарет Тэтчер, железная леди.

– Маш, ну пожалуйста. – Мама снова протянула Маше руку. – Если будет Нина Петровна, я с ней поговорю. Я тебя очень прошу. У нас сегодня утром семинар, я никак не могу опоздать.

Маша прищурила глаза, выдохнула, вложила свою руку в мамину и поплелась в сад.

Мама честно поговорила с Ниной Петровной, покаялась, взяла всю вину на себя, и та обещала не серчать. Но, когда дети, сияя белыми рубашками и колготками, выстроились на ковре в парадную шеренгу, воспитательница объявила всей группе, что Молчанова цветов Ленину не принесла, и спросила, может ли кто-то из детей поделиться с ней несколькими цветками, раз уж совести у нее нет даже на донышке. Лена Бурова, ябеда и воображала, которой всегда доставалось все самое лучшее – и желтый шкафчик в раздевалке, и роль Снежной Королевы в новогоднем спектакле, и гольфы с кисточками, – косилась на Машу со злорадной ухмылкой, остальные молчали, потупив глаза. Наконец, набравшись смелости, из шеренги шагнули аж два

Машиных кавалера – мечтатель Гриша Школьник и задохлик Олежка Абрикосов, оба протянули ей несколько гвоздик. Но Машину репутацию уже было не спасти.

Шеренгой дети поднялись по лестнице на второй этаж и засеменили по коридору в актовый зал, косясь на дверь зубного кабинета, которого все страшно боялись, но который сейчас, по счастью, был закрыт. Нина Петровна, в белой блузке и с сережками в ушах, возглавляла колонну, неся на вытянутых руках красное, с желтой бахромой знамя.

Когда они остановились перед залом, выпуская другую группу, уже совершившую жертвоприношение, к Маше повернулась Бурова и, бросив на нее строгий взгляд из-под двух огромных белых бантов, которые сидели у нее на голове, будто две тетки на лавке, прошептала:

– Ты что наделала! К Ленину – без цветов… Кто Ленина обидит, тому плохо будет.

Актовый зал утопал в красном – флаги, знамена, плакаты. К занавескам на сцене были прикреплены башни Кремля из картона, которые всей группой рисовали и вырезали на прошлой неделе. За пианино сидела аккомпаниатор в нарядном платье и играла что-то торжественное. Огромный портрет Ленина стоял на полу у сцены, заваленный до усов цветами.

Дождавшись своей очереди, Бурова торжественно положила букет на самый верх кучи, потом поправила тот, что лежал рядом, и, довольная собой, зашагала обратно. Ее белые банты поплыли за ней. Маша пощупала свой бант, чтобы убедиться, что он еще на голове, по-деловому подошла к портрету и пристроила куда-то сбоку пожертвованные ей гвоздики. Она была, конечно, слишком умной, чтобы верить во всякие страшилки вроде черного-черного дома, где в черной комнате, на черной-черной кровати… но на всякий случай все-таки подняла глаза и взглянула на Ленина. Вождь мирового пролетариата смотрел на нее с осуждением и даже, как ей показалось, чуть покачивал головой.

Тем вечером папа не пришел домой. Мама сказала, что он остался в гостях. На следующий день он пришел, но вид у него был такой подавленный и несчастный, почти как у Артурика Назарова, которого Нина Петровна заставила съесть весь омлет, до последнего кусочка, и его вырвало.

Маша села к папе на колени, потеребила по-хулигански ему бороду. После этого папа обычно щекотал Машу или принимался делать ей «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы». Но сейчас он никак не отозвался, сидел молча и безучастно смотрел перед собой.

Тогда Маша затараторила про вчерашнее возложение цветов, про то, как Нина Петровна отчитала ее перед всей группой, хоть и обещала маме, что не будет ругать, и как Гриша Школьник и Олег Абрикосов поделились с ней гвоздиками. Папа поцеловал Машу в лоб и пробурчал что-то невнятное про то, что Саша хороший мальчик.

– Пап, не Саша, а Гриша и Олег! – возмутилась Маша. – Ты меня что, не слушаешь?

За ужином родители почти не говорили, лишь перебросились парой фраз: папа потянулся за маслом, а мама попросила его придвинуть Машин стул поближе к столу. Потом они включили Маше «Спокойной ночи, малыши!» на маленьком черно-белом телевизоре на кухне, а сами закрылись в своей комнате и принялись ругаться.

Папа кричал что-то бессвязное, сбивчивое – то про порядочность и свинство, то про институт и лабораторию, то про какого-то Михаила, который пустое место. А мама отвечала спокойно, тихо, даже равнодушно, и в этом ее спокойствии слышалась какая-то решительность и безысходность, уж лучше бы она скандалила, как папа.

Хрюша со Степашей уже попрощались с телезрителями, уже началась программа «Время» и ведущие рассказывали об ускорении научно-технического прогресса в советской стране и очередном обострении на Ближнем Востоке, а родители все продолжали. Маша убавила на телевизоре звук.

– А ведь мама меня предупреждала: она тебе еще устроит, – выпалил папа.

Впервые за всю ссору мама повысила голос:

– Про твою мать давно было известно, что она меня на дух не переносит!

Маша выключила телевизор и отправилась спать, минуя ванну и чистку зубов. Она накрылась с головой одеялом, так ей лучше думалось, и принялась прокручивать в уме папины слова. «Она тебе еще устроит…»

Машина мама была не просто красивой, она была очень красивой, это Маша знала совершенно точно, потому что на маму постоянно заглядывались мужчины – в очереди, на улице, в метро. А однажды в трамвае какой-то дядька в меховой шапке так и сказал Маше: «Ты знаешь, что у тебя очень красивая мама?» У нее были длинные светлые волосы, легкая, точеная фигура, и даже небольшая щель между передними зубами не портила, а наоборот, придавала шарма.

В балетную студию во Дворце пионеров Машу взяли только из-за мамы. Сначала замахали руками, сказали, что растяжка у Маши есть, но сильное плоскостопие и выворотности нет, так что нет, мамочка, не возьмем. Но потом, в самом конце просмотра, в зал вошел директор, лысеющий дядька в галстуке в косую полоску. Он немного посидел с отборочной комиссией, а потом увидел маму, подсел к ней, разговорился и вскоре объявил, что у такой замечательной мамы и девочка обязательно должна быть замечательная и что мы эту девочку, конечно, возьмем, и вас, Леночка, надеемся здесь видеть почаще. Тетки из приемной комиссии сразу же услужливо закивали, как игрушечные собачки с головой на пружине, которых Маша видела несколько раз в такси, и внесли Машу в списки.

…Михаил. Михаил, про которого говорил папа, кто же это может быть… Михаил… Миша… Батон?!

По пятницам мама забирала Машу из сада пораньше, и они шли в гастроном. При входе сворачивали направо, в молочный отдел, покупали молоко, сыр, сметану, если была, а потом шли в противоположную сторону – в мясной. Там над прилавком возвышался огромный, лысый, щетинистый мужчина в белом халате, вечно заляпанном кровью, – Миша Батон. Слева от него стоял огромный пень, тоже весь в крови. В него был воткнут топор, а вокруг жужжали мухи. Машу сразу начинало тошнить.

На голубых весах у Батона всегда висела одна и та же одинокая бумажка, на которой жирными печатными буквами было выведено «Мяса нет». И Маша никак не могла взять в толк, зачем они все время ходят к Мише Батону, если у того нет мяса.

– Леначка, дарагая, пришла! – выкрикивал Батон с сильным грузинским акцентом и поделовому закатывал рукава халата. – Ну иди са мной.

А Маше бросал сухо:

– А ты пайди падажди нас – знаешь где.

Маша знала, как же такое забыть. Она выходила на улицу, поворачивала направо, огибала здание магазина и подходила к серой металлической двери под ржавым козырьком. Это был служебный вход – или выход. Тут ей и было положено ждать.

Ждать было скучно, холодно. Злой ветер кусал пальцы, варежки Маша вечно теряла, а у мамы все никак не доходили руки пришить их на резинку. Маша засовывала руки в карманы и переминалась с ноги на ногу, чтобы согреться.

Через некоторое время металлическая дверь со скрипом открывалась, и из зловещей темноты выходила мама, нагруженная сумками. Вид у нее был довольный, цветущий.

Вслед ей доносился голос Батона:

– Давай, Леначка, дарагая, через две нидели жду!

Действительно, мысленно согласилась с папой Маша, этот Миша Батон был пустым местом.

На следующий день папа уехал в институт, хотя была суббота, да еще и праздник, а к маме зашла тетя Нина. Они засели на кухне, пили кофе и курили, хотя мама обещала папе бросить, и Маша действительно давно не видела ее с сигаретой.

Дверь была прикрыта неплотно, Маша подкралась на цыпочках и встала у щели.

– Нин, у него была такая белая водолазка, знаешь, вот так, до подбородка, – сказала мама, мечтательно смотря в окно. Одну ногу она поставила согнутой на стул, так, как вечно норовила сделать Маша, но мама ей запрещала, говорила, что за столом неприлично, а теперь вот сидела в такой позе сама. – Он в ней похож на Вознесенского.

– Лена, ну ты сама подумай, какой Вознесенский! – схватилась за голову тетя Нина. – У вас у обоих семьи, дети, а теперь скандал на весь институт. Зачем было вообще ему все рассказывать?

– Ну у нас же теперь гласность, свобода слова, – грустно усмехнулась мама. – Семьдесят лет врали, притворялись – хватит, не могу больше.

Мама стряхнула с сигареты пепел, потом затянулась и выпустила изо рта белое облако дыма. На мгновение оно заволокло стоящий на подоконнике кактус, а потом рассеялось.

– А Леша? – упорствовала тетя Нина. – Таких мужчин сейчас вообще не делают. Как ты теперь будешь одна?

Мама пожала плечами, вздохнула.

– Разберусь как-нибудь. Я ни о чем не жалею.

В ту ночь Маша проснулась оттого, что стало холодно и мокро. Она долго не могла понять, что произошло, но потом, пощупав рукой постель, догадалась: описалась.

Мама сначала не придала этому значения – не успел добежать ребенок, с кем не бывает. Но вскоре Маша стала просыпаться мокрой каждую ночь. Первое время мама перестилала белье, а потом стала переносить Машу к себе в сухую кровать, так было быстрее. Папа к тому времени уже спал на раскладушке на кухне.

– Горе ты мое луковое, – сонным голосом говорила мама, прижимая Машу к себе под одеялом.

А может, не Ленин был во всем виноват и не Миша Батон? Может, это из-за нее все произошло, из-за Маши?

Перед Новым годом пошли в цирк. Родители купили Маше сладкой ваты, сфотографировались все вместе с дрессированной обезьянкой в сюртуке, а в антракте папа посадил Машу себе на колени и тихим, запинающимся голосом произнес: «Машенька, я теперь буду жить отдельно, мне так до работы быстрее. А ты будешь приезжать ко мне в гости». Мама сидела молча, теребила программку, уткнувшись взглядом в грязный пол.

Второго отделения Маша почти не запомнила, все было в тумане – канатоходцы, воздушные гимнасты, клоуны. Хотя нет, на клоунов она обратила внимание. Их было двое. Один ездил по манежу на одноколесном велосипеде и все время падал. Второй смеялся над первым, так что слезы струйками вылетали у него из глаз. У Маши тоже текли слезы.

После того, как папа съехал, Маша стала писаться в детском саду во время тихого часа. Обычно во второй половине дня работала Татьяна Сергеевна, и Машу она не ругала, жалела даже, называла мокрушечкой. Но однажды выпала смена Нины Петровны, и, как Маша ни старалась замести следы, воспитательница все же обнаружила в кровати мокрую простыню и вывесила ее сушиться прямо в группе, у всех на глазах.

– Нет, ну вы только полюбуйтесь на Молчанову, – покачала головой Нина Петровна. – Все дети как дети, а эта ссыт.

Маша в долгу не осталась. Она гордо заправила майку в свои мокрые трусики и, посмотрев Нине Петровне прямо в глаза, заявила:

– Никакая вы не Маргарет Тэтчер, если говорите такие слова.

Нина Петровна аж крякнула от такой неслыханной наглости.

– Ты Молчанова? Вот и молчи. Больно умные все пошли…

Марина Юрьевна, участковая из детской поликлиники, поставила диагноз – нейрогенный мочевой пузырь – и велела ложиться в больницу. Обещала устроить в хорошее место, в Институт педиатрии, у нее там работала однокашница из института.

Только бабушка была против. Она звонила по межгороду, кричала в трубку:

– Не отдавай ребенка, ее там залечат. Только хуже сделают.

– Ну не я же это придумала про больницу, мне врач сказала, – оправдывалась мама.

– От нервов у нее это все… Посмотри до чего ты доигралась…

Мама только вздыхала.

– Мам, не начинай…

Так Маша оказалась в урологии.

В палате было шесть коек, расставленных вдоль стен, несколько тумбочек и два окна, завешенных ватными одеялами, чтобы не дуло. На подоконнике стояла маленькая пластиковая елочка, обмотанная потрепанной мишурой, оставшаяся с Нового года.

С дальней кровати поднялась худая девочка в линялой байковой пижамной рубашке, заправленной в колготки. В таких сиротских пижамах здесь ходили приезжие дети – московским одежду родители привозили из дома.

– Тебя как зовут? – спросила девочка.

– Маша.

– Я Юля. А диагноз у тебя какой?

– Не знаю, – пожала плечами Маша. – Но я ненадолго здесь. Меня скоро выпишут.

– Не выпишут, – уверенно возразила Юля. – Так все говорят поначалу, а потом лежат и лежат. Я вот здесь уже два месяца.

Маша замотала головой, словно пытаясь стрясти с себя услышанное.

– Да ты не переживай, тут неплохо, ты привыкнешь. Только Валю, медсестру, не зли.

С Валей они схлестнулись на следующее же утро, как только та появилась в дверном проеме, нависая над миниатюрным Игорем Фёичем, как Фрекен Бок над Малышом.

– А когда меня выпишут? – бодро прокричала Маша.

– Ну дает! – фыркнула Валя. – Тебя только вчера положили!

– Ну разве тебе так плохо у нас? – добродушно отозвался Игорь Фёич. – Чуть-чуть полежишь, и выпишем.

Осмотрев первых двух девочек, чьи кровати были у входа, он подошел к Машиной койке и принялся листать какие-то бумажки своей небольшой, почти женской рукой, на которой поблескивало тонкое обручальное кольцо.

Маша насторожилась.

– Так… анализы у нас не ахти, – вздохнул он. – Давай-ка мы с тобой, Машенька, попробуем одно лекарство. Начнешь его пить и скоро выздоровеешь.

Он ласково похлопал Машу по плечу и повернулся к Вале:

– Валентина Павловна, запишите: тут у нас пять-нок, по две таблетки три раза в день.

Маша не знала, радоваться ей или нет такому повороту вещей, потому что за вчерашний вечер она уже успела наслушаться от Юли про уколы, цистоскопию и другие мучительные процедуры, которые совершались тут над детьми, и по сравнению с ними таблетка выглядела довольно гуманно. Но по тому, как злорадно прищурилась Валя, Маша поняла, что ничего хорошего ей не светит.

Так оно и вышло. Лекарство оказалось страшно горьким. Снаружи таблетка была покрыта сладкой розовой оболочкой, но, когда сладкая часть рассасывалась, во рту все горело. А глотать таблетки Маша не умела – дома мама всегда толкла их ей в ложке.

Маша далась не сразу. Сначала она удирала от Вали по палате, перепрыгивая с кровати на кровать, под лязг металлических пружин и испуганные визги девчонок. Потом, когда Валя

все-таки настигла ее и всунула таблетки в рот, Маша со всей мочи выплюнула их на пол, будто пьяный мужик отхаркивается на остановке.

Валя не сдалась, только раззадорилась. Она мигом собрала таблетки с пола, снова скормила их Маше, а потом наглухо сжала ей челюсть пятерней. Так Маша и стояла с наполняющимся слюной ртом и все растущими щеками – выплюнуть было невозможно, а проглотить горько.

Соседки по палате смотрели на разыгрывающуюся драму одновременно и с ужасом, и с восхищением, особенно старожилка Юля, которая уже многое повидала за два месяца, но такого не видела.

– Глотай, кому сказала! – проревела наконец Валя, совсем выведенная из себя. – А то в неврологию переведу – к дебилам.

Она защипнула Маше нос указательным и средним пальцем, так что той совсем нечем стало дышать, и пришлось-таки проглотить эту горечь.

Маша закашлялась, замахала руками, вырвалась из Валиных тисков и завыла.

– Пореви, пореви, тебе полезно будет, – выдохнула Валя. Она поправила на себе помятый халат и победоносно вышла из палаты.

Маша, конечно, поревела, но недолго, потому что тотчас же начала обдумывать план мести.

Посещения разрешались раз в день по будням, и родители приходили порознь. Мама заходила чаще, приносила апельсины, яблоки и пастилу, Машино любимое лакомство, играла с Машей пару партий в подкидного дурака и убегала на работу.

А папа навещал Машу реже – он теперь жил на другом конце города, и добираться до больницы ему было далеко. Но когда приезжал, это было счастье, и, пока не закончился час приема, Маша торопилась рассказать о своей больничной жизни – о том, какие горькие розовые таблетки ей приходится пить, о том, что соседку по палате Юлю уже вроде собирались выписать, но ночью у нее начался жар, и ее перевели в инфекционное отделение, о том, какая свирепая медсестра Валя, и почему Игорь Фёич еще не выгнал ее из больницы. С папой Маша тоже играла в дурака – но в переводного.

Однажды папа принес жареную курицу в бумажном кульке и новую, блестящую колоду карт, в которой трефовый валет держал в руке лук, а у червовой дамы был кокошник. Курица была нарезана большими кусками, мама так никогда не резала, и Маша, набившая полный рот, никак не могла прожевать. Интересно, а кто же теперь готовит папе, кто так странно режет курицу, думала она, но спросить не решилась.

Через пару недель в палату положили новую девочку – Асю. Она поступила с сотрясением мозга, но в неврологическом отделении не было ни одной свободной койки, и ее спустили в урологию.

Ася была смуглая, с гривой черных вьющихся волос, как у льва Бонифация, и все время плакала – хотела домой. Иногда ее навещали родители: мама Тамара, тетя Тома, в точности такая же, как Ася, – смуглая и лохматая, только в очках и взрослого размера, – и папа, тихий и тоже в очках. Но чаще всего к ней приходил дедушка в сером пиджаке, ласковый, уютный. Он приносил Асе термос с супом или пшенной кашей, тарелку брал в столовой, а ложку доставал из сумки свою, домашнюю – большую столовую из почерневшего серебра, – и кормил Асю только с нее. А еще угощал всех гранатами: красными, тяжелыми, с задорным хвостиком, наполненными бордовыми стекляшками, одновременно и сладкими, и кислыми.

Покормив Асю, дедушка читал всей палате Киплинга, а потом уходил, и весь оставшийся день до самого отбоя Ася рыдала в подушку, делая перерыв только на ужин.

Одним вечером, после отбоя, Ася лежала в кровати и, как всегда, тихонько оплакивала свою горькую больничную судьбу. Из коридора, где под лампой сидела дежурная медсестра,

слава богу не Валя, через неплотно закрытую дверь в палату просачивалась узкая полоска света, и Маша видела, как подрагивают Асины плечи.

Маша встала, беззвучно подошла к Асе, тронула ее за спину.

Ася вздрогнула и с удивлением посмотрела на Машу. Маша приложила указательный палец к губам.

– Ась, не плачь. Я кое-что придумала.

– Что? – всхлипывая, Ася приподнялась на локтях.

– У тебя таблетки горькие?

– Ну, горькие, да.

– Мы их выбросим.

– Как это?

– Выбросим – и глотать не придется.

– Я боюсь. Нас накажут. И потом, я лежачая, мне вставать нельзя.

– Не накажут, они не узнают, кто это сделал, нас никто не увидит. Я все продумала.

– Точно?

Маша уверенно кивнула.

– Ну хорошо, – согласилась Ася. Она опустилась на подушку, накрылась поуютнее одеялом и первый раз на Машиной памяти уснула мирным, быстрым сном.

Рано утром следующего дня, когда все отделение еще спало, а Валя, только что заступившая на смену, зевая и кряхтя, зашаркала в туалет набрать воды в чайник, Маша с Асей прокрались в сестринскую. Здесь было прохладно, и стоял неприятный больничный запах – спирт, йод и хлорка. Осмотревшись, девочки порылись в шкафу, выдвинули ящики стола и наконец догадались посмотреть за ширмой – там стояла металлическая тележка, на которой Валя развозила по палатам лекарства. Таблетки были разложены в небольшие стеклянные рюмки, а под каждой рюмкой лежала тонкая полоска бумаги, на которой была написана фамилия ребенка.

– Ась, ты по-письменному читать умеешь? – прошептала Маша.

– Нет.

– А как мы поймем, где наши?

Ася пожала плечами.

– Мои розовые, но тут почти у всех эти розовые. А твои какие?

– Желтые и белые.

– Может, вот эти? – Маша указала на крайнюю рюмку.

– Не знаю, – проговорила вполголоса Ася, и по тому, как задрожала и выдвинулась вперед ее губа, Маша поняла, что девочка сейчас разревется.

– Только не плачь!

Нужно было что-то решать, и Маша пошла ва-банк. Она поочередно опрокинула в нагрудный карман пижамы содержимое каждой рюмки, стоявшей на тележке. Карман быстро распух, и остальное Маша высыпала Асе в руки – у той кармана не было. Они бесшумно выскользнули из сестринской, юркнули в кладовку под лестницу и там ссыпали все таблетки в темный угол, где стояли швабры и валялись половые тряпки.

Ну что ж, пореви, пореви, Валечка, тебе полезно будет.

Таблетки искали полдня, все перерыли. Валя бегала заплаканная, говорила, что теперь пришлют инспекцию и ее обязательно уволят, а увольнять ее нельзя, потому что у нее муж из Афганистана без ноги вернулся, и вся семья живет на Валину зарплату.

Обыскали все кровати и тумбочки, выпотрошили сумки, даже на половине у мальчишек проверили. Вся палата клялась, что никаких лекарств никто не брал, громче всех божилась Маша. Она сидела на кровати в своей больничной косыночке и смотрела на врачей невинным, ангельским взглядом.

– Честное слово, это не я.

Наконец ближе к вечеру в палату зашел Игорь Фёич и встал задумчиво у окна. Следом за ним притопала Валя, толкая тележку, на которой гремело что-то металлическое. Вид у Вали был решительный.

Игорь Фёич почесал усы, глубоко вздохнул и заговорил ласково, по-отечески:

– Девочки, дорогие мои. Ваших таблеток мы, к сожалению, так и не смогли найти. Они пропали.

– Я не брала! – воскликнула Ася и с испугом покосилась на Машу. – Честное слово!

– И я не брала!

– И я!

– Я вам верю, верю. Но лечиться-то все равно надо, а то зачем же вас в больницу положили. Правда ведь? Так что вместо таблеток придется сделать вам уколы. Вот, Валя все подготовила.

Валя охотно выкатила дребезжащую тележку со шприцами на середину палаты.

– Ой! – запищали в один голос девочки.

– Я не хочу, я не буду, – заскулила Ася.

– А как по-другому? – развел руками Игорь Фёич.

– Я хочу к дедушке! – Ася упала ничком на кровать и затряслась в плаче.

– Ну или, может, кто-то из вас все-таки постарается и вспомнит, где могут быть таблетки?

Маша посмотрела на рыдающую Асю, медленно нашарила ногами тапки, встала с кровати и устало вздохнула.

– Не надо уколов, – сказала она обреченно. – Я покажу.

Что тут началось! Все забегали, заскакали. Валя заистерила.

– Я же вам говорила, Игорь Федорович, что это она. А вы мне не верили!

Лекарства нашли. Валя лично ползала по полу в темной кладовке, виляя толстым задом в белом халате. Таблетки промыли и все равно скормили девочкам – горечь несусветная.

На Машу с Асей покричали, конечно, но не долго. Обрадовались, что избежали инспекции. Только Валя по-настоящему обиделась.

– Мы создали тебе все условия, выдали второе одеяло, положили далеко от окна, – всхлипывала она. – А ты вон какая неблагодарная.

На следующий день на скамейке у двери Игоря Фёича, под плакатом, повествующим о заболеваниях мочевыделительной системы, встретились Машина и Асина мамы. Пока они ждали заведующего с общебольничной конференции, а потом с обхода, успели подружиться, обменяться телефонами и выяснить, что живут в одном районе, совсем недалеко друг от друга, и что обе учились в университете на химфаке, только с разницей в два года.

Сначала Игорь Фёич пригласил к себе Тамару, но с ней разговор был недолгий – все знали, кто в паре юных диверсанток был зачинщиком. Игорь Фёич лишь заверил, что со дня на день Асю должны поднять в неврологию, там ей будет поспокойнее.

С Машиной мамой беседа была другая. Игорь Фёич сидел за столом, заваленным медицинскими картами, бумагами и рентгеновскими снимками, и крутил в руках остро заточенный простой карандаш. За спиной заведующего висел календарь с драконом, у которого, судя по картинке, с мочевой системой проблем не было.

– Вы знаете, Елена Викторовна, недержание мочи – это не поломанная рука и даже не воспаление легких, а гораздо более сложное заболевание. Точной его природы мы не понимаем, – сказал он. – Можно лечить ребенка и так и сяк, обследовать вдоль и поперек, и не всегда в этом будет толк. А можно оставить все как есть и надеяться, что со временем пройдет само. Понимаете, иногда эта болезнь развивается на нервной почве, а у вас, я так понимаю, сейчас некоторые неполадки в семье.

Мама молча кивнула.

– Тем более девочка она у вас непростая. Взять хотя бы эти таблетки. – Игорь Фёич чуть приподнял на лоб очки, потер глаза у переносицы. – Так что ей сейчас дома лучше будет, мне так думается. А вы с ней помягче, понежней. И супругу тоже передайте.

На выписку мама с папой пришли вместе.

Мама была нарядная, в новом голубом дутом пальто и с новой прической – она завила волосы и покрасила отдельные пряди в еще более светлый цвет, это называлось «перышки». Папа тоже был какой-то праздничный, веселый.

Они собрали Машины вещи в сумку, Маша попрощалась с девочками в палате, обнялась с Асей, которая, конечно, сразу же принялась рыдать, торжественно пожала руку Игорю Фёичу. С Валей прощаться не стала.

Первый раз за долгое время Маша не накинула шубку на плечи, а продела руки в рукава, застегнула на все пуговицы, а вместо больничной косынки надела свою шапку тигровой расцветки и завязала под подбородком тесемки.

Когда спускались по лестнице, родители держали Машу на весу, и она перепрыгивала через ступеньки, будто летела.

– И-и-и-и-и раз! – говорила мама, и Маша визжала от радости, перебирая ногами в воздухе. – И-и-и-и-и еще!

На улице Машу обдало солнцем, нежным ветерком и каплями тающих сосулек. В воздухе пахло весной.

Все так же втроем, держась за руки, они перешли через дорогу, потом пересекли трамвайные пути и двинулись к Черемушкинскому рынку. Талый снег был грязным, и когда на пути встречались коричневые сугробы, родители снова поднимали и переносили Машу по воздуху – и-и-и-и раз, и-и-и два.

Рынок тоже показался Маше праздничным, шумным, пестрым. Мама с папой сказали, что Маша может выбрать себе на рынке все, что захочет, – заслужила. Они бродили между прилавков, на которых аккуратными пирамидками были выложены груши, мандарины, гранаты, виноград, и Маша все время оглядывалась, следила, чтобы мама и папа были у нее в поле зрения: один по левую руку, другая – по правую. Маша выбрала гранаты – такие, какие приносил Асин дедушка.

Когда вышли с рынка, вдалеке как раз показался двадцать шестой трамвай.

Маша все заглядывала внутрь пакета, любуясь гранатами, и не заметила, как папа снял с плеча ее больничную сумку и протянул маме.

– Ну что, девочки, до скорых встреч! – сказал он. – Машуль, расскажи потом, вкусные ли гранаты.

– Пап! – воскликнула Маша. – Пап, ты куда? Ты не с нами?

Папа виновато улыбнулся.

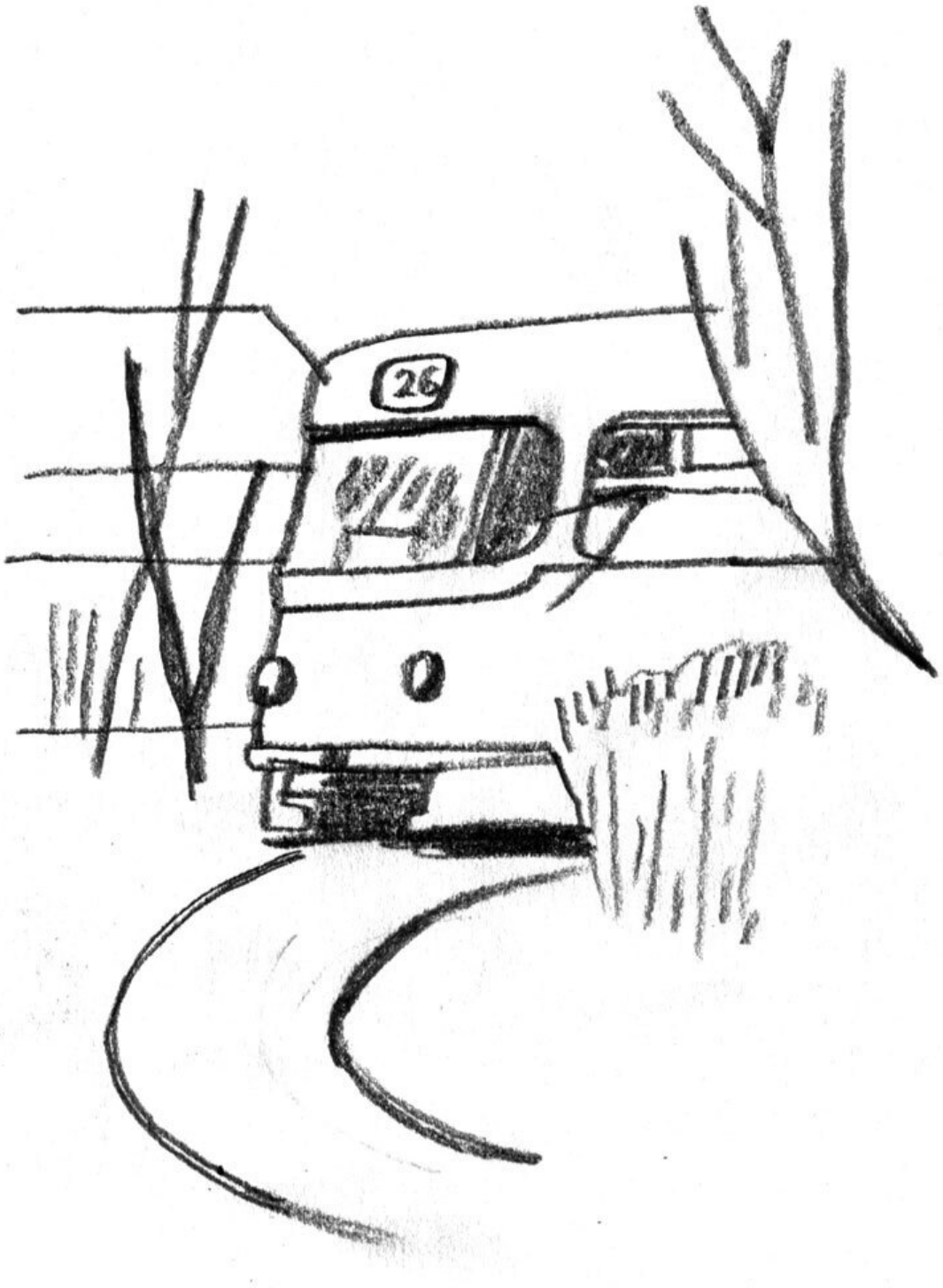
– Мне же в другую сторону – к метро.

Он поцеловал Машу в щеку, подсадил на подножку, помог маме пропихнуть сумку между металлическим поручнем и дверью и помахал рукой.

Двери трамвая сомкнулись и, скрежеща по рельсам, двадцать шестой покатил в противоположную от папы сторону. Маша забралась с коленями на пустое заднее сиденье и, прильнув лбом к стеклу и прижимая к груди пакет с гранатами, смотрела, как папина фигура становится все меньше и меньше. Когда трамвай повернул на улицу Вавилова, она и вовсе скрылась из виду.

После выписки, когда дома звонил телефон, Маша еще долго бежала на кухню, поднимала трубку и произносила со строгой Валиной интонацией: «Урология слушает!»

Гуманитарная помощь



Ася вставала на цыпочки, тянулась, подпрыгивала, но за густой стеной гладиолусов ничего не было видно. Вдалеке, на школьном крыльце, маячили величественная спина и седой пучок директрисы. Она говорила что-то торжественное и важное, но слов ее было не разобрать из-за шума, который стоял вокруг.

Это должен был быть самый счастливый день в Асиной жизни. Дождь, который лил последнюю неделю, весь вытек, аккурат в конце августа пришла золотая осень, и мама разрешила Асе надеть белые праздничные гольфы, давно припасенные для этого дня вместо белых колготок, куда менее торжественных и кусачих.

В магазине «Машенька» была куплена школьная форма, самая лучшая, с кружевным белым фартуком, – дедушка несколько дней ездил отмечаться, – манжеты проглажены и пришиты мамой вчера вечером, а на дне ранца лежала новая упаковка польских фломастеров, дедушкин подарок.

Ася, нежная, домашняя девочка, никогда не ходившая в сад, так ждала этого первого сентября, так жаждала уже вступить в новую жизнь, носить школьную форму, писать в прописи, учиться по букварю, хотя читала она уже давно.

Стоял мягкий, теплый день, и солнце щедро лилось на школьный двор, утопающий в гладиолусах, астрах и георгинах, а еще роскошных, пышных белых цветах, которые при ближайшем рассмотрении оказались бантами. Несмотря на почти уже ушедшее лето, в воздухе чувствовался праздник и благодать.

Но с самого утра, вернее даже со вчерашнего вечера, все пошло наперекосяк: предательски выпал передний зуб, хотя до этого почти не шатался, и теперь Ася шепелявила, когда произносила свое имя, парадный бант еле-еле держался на ее жестких, непослушных волосах, и маме с трудом удалось закрепить его с помощью невидимок, а самое обидное, изначально Асю распределили было в «А» класс, но когда она направилась к молодой красивой учительнице, стоящей с табличкой, на которой красным была выведена буква А, кто-то сильный взял Асю сзади за плечи и бесцеремонно развернул влево, туда, где стояли второсортные бэшки.

Однако и на этом череда неудач не закончилась. В линейке Асю поставили во второй ряд, с ее-то ростом, и за головами одноклассников и букетами дачных гладиолусов, почти превосходящих по росту самих первоклассников, – небось бабушки и дедушки весь август окучивали клумбы, – ровным счетом ничего не было видно.

Мама с папой и дедушкой стояли по другую сторону школьного двора, там, куда сгребли всех родителей, и помочь Асе не могли. Она была совсем одна, вокруг не было ни одного родного человека, и ничего не было ни видно, ни слышно.

– Сейчас будет, сейчас будет! – воскликнула высокая девочка, стоявшая рядом, и запрыгала от нетерпения на месте.

Девочка была худая, с длинными ногами и руками, и какая-то несуразная, нескладная, будто собранная из деталей от разных комплектов. Но зато у нее были красивые светлые длинные волосы, собранные в аккуратные баранки, а еще – Асина заветная мечта – челка. У самой Аси волосы были мамины – такие жесткие и кудрявые, что жили на ее голове независимой жизнью и из них никогда не получалось ничего дельного: ни ровных косичек, ни тем более челки.

– А что там? – спросила Ася. – Пожалуйста, скажи, что там. А то мне ничего не видно.

Девочка повернулась к Асе, и баранки синхронно качнулись у нее за ушами. Она посмотрела на Асю строго, насупившись.

– Первый звонок.

И действительно, вскоре утих торжественный голос директрисы, послышался звон, сначала совсем издалека, а потом громче, громче, затем раздались аплодисменты и радостные возгласы. Из-за цветов, которые прочно застилали Асе горизонт, она не смогла разглядеть ни счастливицу девочку, которую выбрали для первого звонка, ни лица старшеклассника, который нес ее на плече, и взгляд ее ухватил только его темно-синюю спину и колокол с красным бархатным бантом.

Потом все вокруг замельтешило, властный женский голос стал выкрикивать фамилии детей, Асю вытолкнули куда-то вперед, и кто-то взял ее за руку. Она подняла глаза и уви-

дела рядом с собой старшеклассника – высокого, лопоухого, с пионерским галстуком поверх пиджака.

Старшеклассник ничего не сказал Асе, просто молча повел ее внутрь школы.

Асю поглотил водоворот белых бантов, новых, пахнущих дерматином одинаковых синих ранцев с грибочком, которые выдавали в этом году во всех детских садах района, и этих исполинских гладиолусов, будь они неладны. На какое-то мгновение Ася выскользнула из руки старшеклассника, но потом снова нащупала ее, вцепилась крепко и пошла за ним. Когда у лестницы толчея чуть схлынула, Ася взглянула на своего проводника и с ужасом обнаружила, что это был совсем другой парень – темноволосый, в очках, тоже в галстуке, но завязанном неопрятно, наперекосяк.

– Ой, а ты кто? – усмехнулся темноволосый.

– Ася, – прошепелявила она. – А тот, другой мальчик, где?

Темноволосый пожал плечами.

– Ладно, беги, первоклашкам на второй этаж, – бросил он и растворился в толпе.

Ася никуда не пошла. Она села на середину самой первой ступеньки лестницы, ведущей на второй этаж, положила рядом букет, аккуратно расправила на коленях белый фартук, чтобы тот, не дай бог, не помялся, и заревела.

Мимо нее проносились другие первоклашки в белом и синем, топоча ногами, шурша оберткой от цветов, подметая букетами лестницу, а Ася все плакала, потому что совсем не так должен был начаться ее первый день в школе, самый счастливый день ее жизни. Она была совсем одна, не знала, куда идти, а один из георгинов, фиолетовый, самый красивый, надломился в толчее, и вот-вот должен был отвалиться. Наконец какая-то старшеклассница заметила одинокую рыдающую девочку, позвала учителей, и всхлипывающую Асю подвели к двери с табличкой «1 Б».

Ася вошла в класс, сделала пару несмелых шагов и замерла. Все дети уже заняли места за партами, вытянувшись по струнке, положив руки перед собой, как подобает, одну на другую, и смотрели благоговейно и преданно на учительницу. В центре класса Ася разглядела Гришу Школьника, сына тети Жени, но тот сидел рядом с белобрысым мальчиком и, кроме как взглядом, полным сочувствия, ничем ей помочь не мог. Ася собралась разрыдаться по новой, потому что свободных мест она нигде не заметила, и стало очевидно, что жизнь ее, в общем-то, закончилась, даже толком не начавшись.

– А это кто у нас?

Ася обернулась на голос. Около стола, в ярких лучах солнца, падающих из окна, возвышалась учительница. Она была не то что полная, а скорее квадратная, как буфет в родительской комнате. И костюм ее – длинная юбка и пиджак – был такого же коричневого цвета. У нее было короткое каре, причесанное на косой пробор, строгий взгляд и поджатые в узкую полоску губы.

– Ты почему опаздываешь? – спросила учительница, и голова ее мелко затряслась.

Ася съежилась еще сильнее, прячась за свой букет, и всхлипнула:

– Я потерялась.

– Ладно, не расстраивайся, – сказала учительница. Голос у нее был тонкий и неприятный, с отзвуком металла. – Меня зовут Раиса Григорьевна. А ты, наверное, Авербах?

Ася кивнула.

– Давай подумаем, куда мы тебя посадим.

Ася медленно ступала между рядов под пристальным взглядом тридцати пар глаз, сутулясь под тяжестью рук учительницы, лежащих на плечах. Кто-то из одноклассников смотрел на Асю с состраданием, кто-то с испугом, а кто-то наверняка мысленно благодарил судьбу, что такая беда – потеряться, опоздать на самый первый урок, пустить слезу перед всем классом – произошла не с ним. Мест не было.

Ася держалась как могла, но чувствовала, что еще чуть-чуть – и разревется в голос, потому что вот он, настал конец света, как вдруг с последней парты взметнулась вверх рука и застыла под картой необъятной советской родины, висящей на стене.

– А можно она со мной сядет? Я подвинусь, – это была та долговязая девочка с линейки.

Девочка спешно подвинулась на край стула, а только что выданный букварь переложила на середину парты, ближе к соседу, чтобы высвободить для Аси угол.

Раиса Григорьевна недовольно посмотрела на столь дерзкое проявление инициативы, но, окинув класс взглядом еще раз, убедилась, что свободных мест действительно нет, и кивнула.

– Хорошо. Временно посидишь тут.

Пока Ася усаживалась, учительница властным движением вытащила из ее запотевшей ладошки цветы и зашагала к своему столу, на котором таких букетов лежала уже целая гора.

– Меня зовут Наташа, – шепнула долговязая девочка так же строго, как до этого на линейке. – Давай дружить.

Ася, никогда не знавшая ни детского сада, ни секций, ни кружков и не приобщенная, как выразилась директриса, когда Асю записывали в школу, к коллективу, слабо представляла, как заводить друзей и как строить отношения со сверстниками. С детьми она общалась мало, в основном с Гришей, когда ходили к нему в гости. Самым главным Асиным другом был дедушка, бесконечно любящий, безгранично преданный, ее вечный спутник, компаньон, соучастник всех игр и затей. И Ася усвоила, что друзей не выбирают, не ищут, не добиваются, не сходятся-расходятся с ними, нет – друзья посылаются свыше, предоставляются самой жизнью, и тебе только и остается, что принять эту дружбу и ответить тем же.

Так случилось и тут: друг появился в первый же школьный день, в тот самый момент, когда было очень нужно, друг спас, друг был познан в самой что ни на есть беде. И Ася, как девочка благородная и ответственная, приняла хмурую, несуразную Наташу на должность своего лучшего друга без всяких вопросов и сомнений. И сама тоже заступила на пост Наташиного друга и стала служить ей, как говорилось в сказках, верой и правдой, потому что разве не так устроена жизнь?

Через несколько дней Ася позвала Наташу в гости, и, когда дедушка вел их из школы домой, слово за слово выяснилось, что Наташина мама работает педиатром в районной поликлинике, и хоть и обслуживает другой участок, несколько раз приходила на вызов к маленькой Асе, когда заменяла коллегу.

– Я Марину Юрьевну прекрасно помню, – улыбнулся дедушка. – Ася нашего участкового всегда боялась, а к твоей маме сразу пошла и даже горло показала.

Девочки так и остались сидеть за одной партой. Оказалось, что в суматохе первого дня в класс к Раисе Григорьевне забрел один вэшка, и когда его вернули по месту прописки, освободилась место, и Наташиного соседа отсадили.

По утрам Наташа поджидала Асю у школьного крыльца, перенимала ее из рук дедушки, и внутрь входили вместе. Они бежали в раздевалку и, пока стягивали рейтузы и надевали сменку, скороговоркой выбалтывали друг другу события вчерашнего дня: Ася ходила на занятие в изостудию и рисовала закат, а Наташа напортачила в домашке по математике, и пришлось вырвать из тетради целых два листа и писать заново, а потом вставлять новые двойные, чтобы Раиса не заметила. Куртки и пальтишки они всегда вешали на соседние крючки, Наташины, правда, всегда смотрелись тусклей и грустней, потому что та за кем только не донашивала.

На переменах они ходили за ручку, как шерочка с машерочкой, за ручку же бежали в столовую, чтобы занять очередь за пирожками, пока не налетят старшеклассники, на музыке, на физкультуре тоже стояли вдвоем. Хотя нет, в начале урока физрук, маленький сухой дедок со свистком во рту, прозванный Одуванчиком за то, что оставшийся седой пушок на его лысой голове походил на редкие еще не облетевшие с цветка семена, строил детей в шеренгу по росту,

и тогда Наташа с Асей стояли практически в разных концах зала. Но как только Одуванчик выкрикивал «вольно», девочки тут же снова оказывались рядом, будто притянутые магнитом.

По отдельности их можно было встретить, только когда одна из них заболевала, правда, вслед за ней обыкновенно заболевала и вторая.

– Два сапога пара, – фыркала Раиса Григорьевна, которую такая пламенная дружба раздражала.

На самом деле Раиса Григорьевна была неправа, сапоги эти были из абсолютно разных пар, и более непохожих девочек придумать было сложно: невысокая, плотная Ася с гривой черных курчавых волос, кроткая и улыбчивая, и сутулая, долговязая Наташа, на полторы головы выше Аси, с жидкими светлыми косичками, смурная, будто все время на кого-то сердитая.

А может, наоборот, их дружба как раз и была закономерной, и каждая высматривала в подружке то, чего не хватало самой: Ася – независимость и самостоятельность, а Наташа – мягкость, благодушие и какое-то общее принятие жизни.

В то декабрьское утро Ася с дедушкой вышли из дома пораньше и пришли к самому открытию школы, когда Наташи еще не было, слишком важный был день. Пятничный классный час отменили. Вместо него по кабинетам ходила директриса и со скорбным видом зачитывала по бумажке речь о произошедшей невероятной трагедии. Она призывала сплотиться и поддержать, говорила, что со всех уголков нашей огромной страны собирают помощь невинным жертвам, таким же советским мальчикам и девочкам, как вы…

Еще со среды вся школа шелестела страшными словами «Спитак», «катастрофа», «десять баллов». Учителя ходили мрачные, даже медсестра Клизма, которая обычно сидела в заточении в своем кабинете, была замечена в столовой, где переговаривалась вполголоса с поварихой тетей Любой. «Какой ужас! Любочка, какой ужас!» А Раиса Григорьевна трясла головой и еще громче гаркала на нерадивых учеников, потому что теперь любое нарушение дисциплины являлось еще и неуважением к памяти погибших.

После того как директриса отправилась к вэшкам, Раиса раздала детям по два белых листа бумаги и велела писать.

«Дорогой мой армянский друг!» Она вывела на доске продолговатые письменные буквы с геометрически точным наклоном. «Тебя постигла ужасная катастрофа. Прими мои самые искренние соболезнования и помощь».

– Сначала пишем на черновике, потом переписываем набело, – объявила Раиса, повернувшись к классу. – А кто хочет печатными, так тоже можно, главное, чтобы без ошибок. Печатными я сейчас напишу.

Ася склонилась над партой, подложив, как обычно, одну ногу под попу, и затаив дыхание выводила слово «помощь», аккуратно, как у Раисы. У нее все никак не выходила буква «щ».

Слева сидела Наташа и корябала что-то свое, посматривая то на доску, то на Асин листок, а потом махнула рукой и решила подождать, пока учительница напишет второй образец печатными буквами. Наташа была левшой, и сколько ее ни переучивали, правой рукой она писала как курица лапой, особенно прописью. Держать ручку справа ей было так неудобно, что при письме она скрючивалась, протирала строчку рукавом, и манжеты ее вечно были в чернилах.

У доски, возле учительского стола, стояли две картонные коробки с теплыми вещами и игрушками для детей пострадавших от землетрясения.

– Ты что принесла? – прошептала Наташа и, не дождавшись ответа, выпалила: – Я – вот что: свитер, брюки шерстяные и шарф.

Ася закусила кончик ручки и понимающе кивнула.

Раиса Григорьевна тем временем снова энергично застучала мелом, выписывая квадратные печатные буквы.

– И не забываем, что предложение мы всегда начинаем с большой буквы.

– Ну а ты? А ты что принесла? – снова зашептала Наташа.

– Теплую одежду всякую, – ответила одними губами Ася. – Мы с дедушкой вчера собирали.

Ася с удовлетворением посмотрела на свой листок. На этот раз прописная «щ» у нее удалась, и даже хвостик вышел как надо, не слишком большой и не слишком кудрявый. Но подняв глаза на доску, Ася спохватилась, что в конце слова «помощь», оказывается, стоит еще мягкий знак. Ну надо же.

Наконец, когда мягкий знак был аккуратно приписан и письмо было сложено пополам, а затем еще раз пополам, Ася отложила ручку в сторону, высвободила из-под попы согнутую ногу и тихонько тронула Наташу за локоть.

Та повернулась.

Ася округлила заговорщически глаза, сложила ладошки рупором и еле слышно прошептала Наташе на ухо:

– У меня еще кое-что есть. – Ася показала пальцем под парту, где стояла папина черная сумка на молнии. – Я тебе потом покажу.

– Кто там опять шепчется? – цыкнула Раиса Григорьевна и повернулась к классу. – Опять небось Черных и Авербах? Ну сил моих больше нет. В стране трагедия, а им хоть трава не расти. Рассадить вас, что ли?

– Нет, нет, не надо! Мы больше не будем, честно! – выпалила Наташа.

Учительница бросила грозный взгляд на девочек и, потряхивая головой, пустилась с инспекцией между рядов. Остановилась она у Гришиной парты.

– Так, Школьник, посмотри, пожалуйста, на доску, – процедила она, но Гриша сидел, подперев голову рукой, и смотрел в другую сторону, поглощенный мыслями.

– Гриша! Школьник! Я к кому обращаюсь? – Она постучала по парте, и Гриша очнулся от лязга ее обручального кольца. – Ты мне что тут понаписал? У тебя вообще без наклона, каракули одни. А ну, давай переписывай!

Пристыженный Гриша покраснел и попросил еще один лист бумаги.

Наташа продолжала пыхтеть над своим посланием, неуклюже вырисовывая буквы, как будто держала не ручку, а грабли или лопату, а Ася от скуки то и дело заглядывала под парту. Там, в папиной сумке, лежало несколько пар шерстяных носков, свитера, рейтузы, шапки, варежки и клетчатый плед, который дедушка засунул уже утром, прямо перед выходом из дома, сказал, что зимой теплый плед никогда не будет лишним. Но самое главное было спрятано в боковом кармане, плотно застегнуто молнией и наполняло Асино сердце одновременно и радостью, и болью. Это был свитер, самый прекрасный в мире свитер, который ко дню рождения прислали ей дядя Алик и тетя Лия… На этом месте Ася каждый раз мысленно останавливалась, собирала руки в кулачки и плотно сжимала губы, вспоминая, что родители строго-настрого запретили ей рассказывать кому-либо, что посылка пришла из Хайфы.

Сам свитер был темно-синий, а рукава ярко-красные, и одно это уже было неслыханным пижонством. А на груди, по центру, был приклеен Микки Маус – в громоздких желтых башмаках, с большими круглыми ушами и черной кнопкой на кончике носа. Но самым главным, самым непостижимым было то, что, если нажать на его хитрую мордочку, выходил смешной звук, веселый писк, будто сжимаешь, а потом разжимаешь резиновую игрушку.

Посылка пришла еще в октябре, вскоре после Асиного дня рождения. Кроме свитера, в ней было две банки растворимого кофе, набор капроновых колготок для мамы, горький шоколад, несколько упаковок жвачки для Аси и длинное письмо.

Родители ушли с письмом к себе, а Ася принялась рассматривать доставшиеся сокровища: разноцветные шарики размером с черешню, уложенные паровозиком в длинной прозрачной упаковке, ярко-желтые прямоугольники с тонкими пластинками внутри и упаковка «Дональд Даков» со вкладышами. Ася надорвала целлофановую упаковку и поднесла пачку

к носу. Жвачки пахли чем-то сладким, заграничным. О загранице Ася, конечно, имела лишь отдаленное представление. Из разговоров взрослых она знала, что там нет очередей, не хамят в трамвае и не врут по телевизору, и Ася заключила, что в таком волшебном месте пахнуть должно именно так.

Счастье было такое огромное, что ей обязательно хотелось рассказать о нем Наташе. Хотя, конечно, немного поскребывало на душе, ведь тогда подарками нужно будет поделиться, оторвать от сердца. Но дружба есть дружба.

Ася позвала Наташу в гости, разложила все жвачки на диване, выделив в отдельную кучу «Дональд Даков» со вкладышами, как самые ценные, и торжественно отсчитала Наташе по горстке из каждой кучки. Получилась примерно треть. За всей этой церемонией наблюдал дедушка и одобрительно кивал.

А свитер Ася Наташе не показала, решила, что придет в нем к ней на день рождения, и будет сюрприз. Но день рождения отменился, что-то там стряслось у Наташиного соседа по квартире.

Ася положила свитер в потайное место, в выдвижной ящик для постельного белья, который стоял под кроватью, и, просыпаясь по утрам, первым делом опускала туда руку, чтобы коснуться гладкой выпуклой поверхности мышонка, убедиться, что он все еще там.

Как же ей хотелось нарядиться уже в этот свитер, покрасоваться перед всеми, но в школу его было не надеть, семейных праздников не предвиделось, а носить его просто так мама не разрешила, сказала, что с Асиной аккуратностью свитер будет заляпан, потом слез не оберешься. К тому же свитер был Асе немного великоват, и она решила, что как раз дорастет до него за несколько зимних недель и пойдет в нем на елку, на кремлевскую – дедушка достал билет.

Вот уже несколько дней дедушка не выключал на кухне радио, слушая сводки о том, как неугасимо росли цифры погибших в Спитаке и Ленинакане, тысячи, десятки тысяч, и как с каждым днем, с каждым часом убывала надежда найти живыми пропавших под завалами. По телевизору показывали груды плит, которые – теперь в это невозможно было поверить – когда-то были домами, и школами, и продуктовыми магазинами, а потом вдруг схлопнулись, как книжки, как песочные замки, и теперь по ним беспомощно ходили взрослые, здоровые смуглые мужчины с косматыми бровями и рыдали, выли в голос. Рабочие в оранжевых касках, собаки, пытающиеся вынюхать тех, кто еще мог быть жив там, под плитами, и гробы, гробы, гробы.

Дедушка тоже плакал, промакивал слезы клетчатым носовым платком и повторял: «Какая трагедия, господи, какая трагедия!» Мама и папа вместе с Гришиными родителями ездили сдавать кровь.

В вечерних новостях, которые мама Асе смотреть запретила, сказала, что не для детской это психики, но Ася все-таки подсмотрела, прильнув к дверному косяку, показали младенца, лежащего под уютным красным байковым одеялом. Глаза его были закрыты, ресницы густые и длинные, а губы застыли в полуулыбке. Казалось, он мирно спал. Но когда камера отъехала назад, стало понятно, что ребенок лежал на носилках, на земле, а рядом билась в истерике его бабушка, крутила головой из стороны в сторону, кричала что-то по-армянски и не пыталась ни разбудить его, ни приласкать, ни согреть. Значит, уже было невозможно.

Еще была женщина, очень красивая, в дубленке и пуховом платке, она сидела прямо посреди развалин, то ли на уцелевшей тумбочке, то ли на табуретке, и, аккуратно сложив руки на коленях, смотрела в пустоту перед собой.

«Я потеряла три детей и мужа, – сказала она в микрофон подошедшему корреспонденту. Она произнесла это так спокойно и безразлично, что Асе стало жутко. – Я в гастроном пошла, закончилась молоко, а они тут остались».

Асю пугали даже не тела, серые, искореженные, которые доставали из-под завалов, и не гробы, они поступали в Армению со всего Союза, и их было так много, что вскоре часть

пустили на дрова, а другое: островки жизни, которые еще сильнее подчеркивали масштаб смерти – та одинокая женщина на табуретке посреди обломков; кусок стены, на которой висел большой плакат Пугачевой, – единственное, что осталось от полностью разрушенной многоэтажки; – голая кукла, пупс с оторванной ногой, валяющийся на груде камней, – у Аси был похожий, и нога тоже оторвалась и потерялась, только левая; – огромные буквы «троном», болтающиеся в воздухе на подъемном кране, видимо, часть вывески того самого гастронома.

Но больше всего Асе запомнилась девочка, которую достали из-под обломков школы на второй день после землетрясения. Диктор сказал, что это был единственный выживший из своего класса ребенок. Девочка лежала безучастно на больничной койке, у ее изголовья стояли врачи и еще какие-то важные мужчины в костюмах, с накинутыми на плечи белыми халатами. Одна нога девочки, обмотанная бинтами, заканчивалась под коленкой, а другая, тоже в бинтах, была чуть длиннее, по середину икры. Лицо девочки было даже не бледным, а серым, под глазами пролегали темные дуги. Девочка смотрела в кадр, прямо на Асю, и будто спрашивала безмолвно – как же так, Ася, как же так?

Поэтому, когда в школе объявили сбор гуманитарной помощи и мама бросилась опорожнять шкафы в поисках теплой одежды, у Аси защемило сердце. Она поняла, что свой чудо-свитер должна будет отдать той безногой девочке.

На перемене в класс пришли старшеклассники и унесли коробки в учительскую. Ася разглядела среди них того лопоухого парня с линейки, который должен был отвести ее в первый класс, но потерял в толпе, улыбнулась ему робко, но тот, кажется, ее не узнал. Теплую одежду Ася сдала сразу же, а свитер с Микки Маусом остался лежать в боковом кармане папиной сумки до конца дня – Ася хотела побыть с ним еще пару часиков, еще чуть-чуть.

Наконец, на последней перемене, она подошла к учительскому столу.

– Раиса Григорьевна, – сказала она тихо. – У меня еще есть кое-что в Армению. Вам отдать?

– А сразу что, нельзя было? – Раиса подняла глаза от журнала, где заполняла что-то, и недовольно затрясла головой. – Сходи в учительскую, туда коробки отнесли.

Ася вынула из-под парты почти пустую черную сумку, повесила на плечо за длинный ремешок и кивнула Наташе на выход.

Та встрепенулась и побежала – вот оно, вот оно, сейчас покажет!

Ася не переносила школьный туалет – там пахло хлоркой и мочой, двери кабинок на замок не закрывались, и в любой момент твои интимные дела, как их называла мама, могли стать достоянием общественности. Ася всегда старалась дотерпеть до дома и не пила в школе ни чай, ни кофе, ни даже свой любимый компот из сухофруктов, чтобы лишний раз не наведываться в это злачное место, но сейчас у нее не оставалась выбора. Ася задержала дыхание и решительно вошла в туалет.

Там было два человека. Какая-то девочка постарше домывала руки, а в одной из кабинок из-за плохо прикрытой двери мелькал бант одноклассницы, Лены Буровой, той счастливицы, которую выбрали на первый звонок.

Ася с Наташей подождали, пока останутся в туалете одни, и забрались в самую дальнюю кабинку возле окна. Ася сняла с себя черный фартук и перекинула его через стенку кабинки, так что октябрятский значок лязгнул по металлу.

– Даташ, закрой глаза, – попросила Ася, стараясь не дышать носом. – Только честдо.

Наташа взволнованно хихикнула, зажмурилась, потом для полной честности еще прикрыла лицо ладонями, а Ася тем временем достала из черной сумки свой волшебный свитер и натянула его поверх коричневого школьного платья. Рукава были длинноваты, и Ася подвернула их, как учила мама.

– Все! Божешь открывать.

– Ой! – Наташа всплеснула руками. – Как красиво!

Она отступила на шаг назад, чтобы посмотреть, как свитер смотрится издалека, потом снова приблизилась и аккуратно провела ладонью по гладкой поверхности Микки Мауса, будто ласкала его, как живого.

– До это еще де все, – завертелась Ася. Она была так счастлива, что даже забыла, что со свитером ей очень скоро придется расстаться. – Сботри.

Ася взяла Наташину руку в свою, надавила ей на мордочку Микки Мауса, и тот запищал.

– Мамочки, – прошептала Наташа, от изумления у нее даже пропал голос. – И ты что, правда это отдашь?

– Да, – твердо ответила Ася. – Той девочке без дог.

– А вдруг не ей достанется, а кому-то другому?

– Точдо ей. Я в кодце письма приписала, чтобы ибеддо ей.

– Ясно, – вздохнула Наташа.

В туалет кто-то вошел. Ася поспешно стянула с себя свитер, сложила его Микки Маусом внутрь и, прижав к груди, выбежала в коридор. Здесь наконец-то снова можно было дышать.

Дождавшись, когда за ней выйдет Наташа, Ася засеменила по коридору. Но у лестницы остановилась.

– Наташ, я не могу, – проскулила она, еще сильнее сжимая свитер.

– Оставишь, значит? – обрадовалась Наташа.

Ася покачала головой.

– Давай лучше ты отнесешь? Раиса Григорьевна сказала, что там коробки в учительской стоят. Сходишь, а?

Наташа часто закивала. Она была благодарна Асе за доверие, за такую важную возложенную на нее миссию, но еще и счастлива подержать Микки Мауса в руках еще хоть пару минут.

Ася вручила свитер Наташе, вздохнула глубоко и поплелась обратно в класс, даже не вспомнив, что ее черный фартук все еще висит в туалете, перекинутый через стенку кабинки, а папина сумка валяется возле не очень чистого унитаза. А Наташа трепетно прижала свитер к груди, как прижимают маленького теплого котенка, и на своих длинных худющих ногах, на которых вечно морщинились колготки, понеслась на третий этаж, перепрыгивая через ступеньки.

Из учительской, с журналами под мышкой, расходились преподаватели – звонок уже прозвенел. Наташа подождала за дверью, пока все выйдут, и заглянула внутрь.

В кабинете осталась только Августина Алексеевна, пожилая завуч. Она что-то сосредоточенно переписывала из одной папки в другую и Наташу не заметила. У стены было составлено несколько десятков коробок.

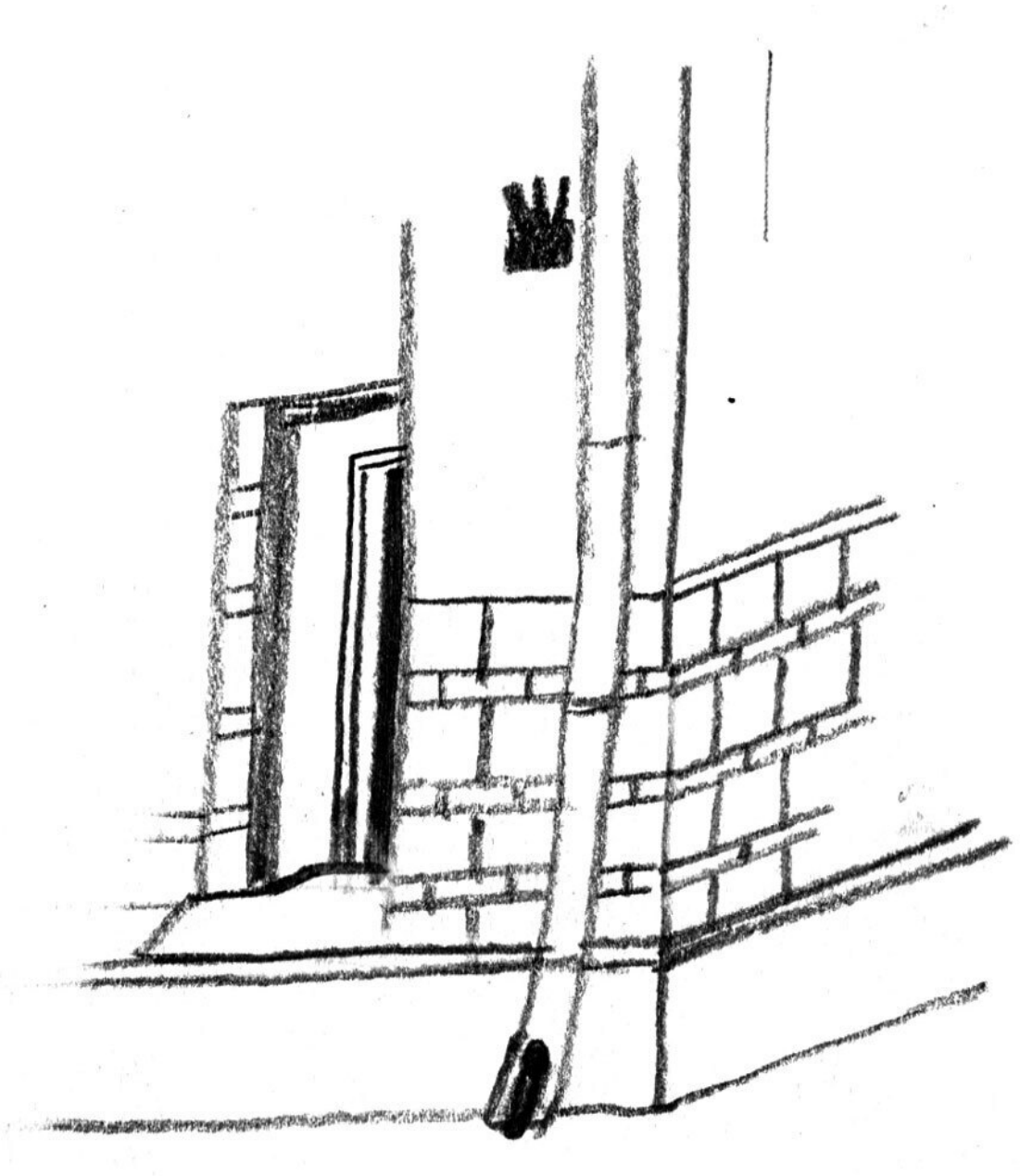
Наташа отняла от груди свитер, развернула его на вытянутых руках, чтобы полюбоваться в последний раз, но нажать на Микки Мауса не решилась. Какой же красивый, этот свитер, вздохнула она, нежно щупая синюю ткань, но совсем не теплый, только слово одно, что свитер, скорее кофта или даже рубашка, только без пуговиц. И до девочки той он не доедет, это точно, ведь у Аси ни адреса ее нет, ни имени. И не теплый он для зимы, совсем не теплый.

На кремлевскую елку Ася пошла снежинкой. Узнав об Асином благородном поступке, дедушка пообещал, что сошьет ей маскарадный костюм, и полночи они с мамой пришивали к белому платью блестки, мишуру и сосульки из фольги, а потом мастерили что-то среднее между кокошником и короной. Снежинка действительно получилась такой прекрасной, что Ася почти не грустила об утрате свитера, разве только мишура кусала шею.

Наташа тоже пошла на елку, но, конечно, не кремлевскую, а районную, маме дали билет через поликлинику. Мама оставила Наташу в очереди на вход, а сама убежала на работу – сейчас ходила ангина, и вызовов было очень много.

Холод был страшный, утром по радио передавали, что ожидается мороз до двадцати градусов. Дети в очереди пританцовывали, чтобы согреться, родители роптали, почему нельзя уже запустить всех внутрь. А Наташа была слишком счастлива, чтобы мерзнуть. Она то и дело прижимала к груди руку в красной варежке и слегка надавливала большим пальцем. Там, под коричневой курткой соседкиной внучки, что-то пищало.

Перекличка



По субботам мама с тетей Томой пекли торты, а Грише есть не давали.

Нет, в начале-то они, конечно, дали попробовать – и Грише, и всем. Устроили чаепитие, позвали Асю с родителями, достали из серванта бабушкин парадный гжельский сервиз и выставили все на стол: торты, пироги, эклеры.

Мама отрезала всем по куску от каждого блюда, и это было так вкусно, что Гриша чуть не расплакался. А потом расплакался по-настоящему, когда сказали, что больше не дадут. Все, что осталось, сложили аккуратно в лотки, и дядя Костя повез это богатство в кафе – на дегустацию.

С тех пор почти все, что ни пекла мама, уходило, а вернее увозилось туда, в это кооперативное кафе на Маяковке. Родители копили на машину.

Работали обычно в четыре руки: мама пекла бисквитные коржи, тетя Тома взбивала крем, потом вместе промазывали, начиняли, украшали. Самым мучительным для Гриши было, когда торты стояли на кухне, на подоконниках, на балконе, настаивались, пропитывались, манили, будоражили Гришу запахами, но каждый раз неизменно уплывали прямо из-под носа.

Трудно было найти менее подходящее время для продовольственных закупок: из магазинов исчезло практически все. Мама с тетей Томой постоянно находились в поисках, или правильней было бы сказать охотились – за яйцами, маслом, сметаной, ванилином, орехами и, конечно, сахаром. Бегали по всей Москве, стояли по очередям, обменивались разведданными, что где выбросили, сколько дают в одни руки.

Иногда тетя Тома звонила прямо из очереди, находила где-то рядом телефон-автомат.

– Передай маме, что в гастрономе масло! – кричала она в трубку.

И мама срывалась, бежала, чтобы успеть к тете Томе в очередь.

Один раз не смогли достать лимоны, и пришлось заменить их на грейпфруты. Те дали легкую горчинку, и посетители, говорят, жаловались. Неудачную партию тортов кооператив вернул, и заплатили маме с тетей Томой в тот раз меньше. Зато Гриша съел забракованный товар за милую душу – хоть с горчинкой, хоть без.

Больше всего Грише нравился сметанник – стопка коржей, проложенных лимонным кремом, слой за слоем, а сверху посыпанных шоколадной стружкой, которую тетя Тома терла на терке. Но сметанник ему достался только пару раз, потому что сметана, как выражалась мама, была на вес золота.

Гриша отчетливо представлял себе эту картину: на одной чаше голубых магазинных весов лежит увесистый золотой слиток, кирпич, а на другую продавщица с блондинистой челкой, выбивающейся из-под белого колпака, накладывает из бидона сметану – зачерпывает и плюхает прямо так, на чашу. Сметана, естественно, растекается, льется с весов на прилавок, и все в очереди шипят и ругаются, как бабушка: «Что же это творится, товарищи!»

Бабушке вся эта кондитерская затея была не по душе. Квартира теперь была загромождена пачками с мукой, сахаром и другим провиантом, а также металлическими лотками, в которых торты отвозили на сдачу.

– Ты только подумай, Эммочка, интеллигентные люди, и чем занимаются, – жаловалась бабушка своей двоюродной сестре из Риги. – Давайте уж сразу шашлычную откроем!

На другом конце провода кроткая Эммочка, видимо, пыталась заступиться за племянницу, но бабушка продолжала возмущаться:

– Машина – это, конечно, похвально. Но ты посмотри, что происходит. У населения выпечку принимают по восемь с половиной, а продают по шестнадцать! По-моему, это просто беспредел.

Бабушка, правда, не упомянула, что себестоимость такого торта была два, максимум три рубля, и, если мама с тетей Томой проводили всю субботу на кухне, а если еще и удавалось взять на работе отгул, за неделю они могли испечь тридцать тортов, а это были уже приличные деньги.

Отвозил все торты дядя Костя – у Авербахов была машина. А у Гришиных родителей не было, собственно, поэтому они и затеяли всю эту эпопею.

Придумала все, как водится, тетя Тома. Прошлым летом, в конце августа, они досиживали последние летние дни перед школой на даче у Авербахов, когда из Москвы приехал папа с новостями – от Вячеслава Леонидовича из соседнего подъезда он услышал, что на район спустили несколько сотен «жигулей». Часть уйдет через предприятия, а часть поступит в свободную продажу, говорят, такой рыночный эксперимент. Машины будет распределять райком. Формируется стихийная очередь.

– Тут и обсуждать нечего, надо занимать, – скомандовала тетя Тома.

Мама резала салат из привезенных папой из Москвы овощей.

– Андрюш, помидоры пахнут потрясающе, но какие-то потрепанные.

– Наверное, в электричке помяли, – пожал плечами папа. – Я еле втиснулся, там народу тьма-тьмущая.

– Женя, какие помидоры? – возмутилась тетя Тома. – Ты слышала про машину?

– Ой, я не знаю, Том. На что ее покупать? Мы столько не наодалживаем. Тем более я с работы собралась уходить, сил моих уже нет вычитывать эти письма доярок.

– Да, помидоры и правда хорошенько помяли. – Тетя Тома взяла еще одну доску, нож и пристроилась рядом с мамой. – А представляешь, у вас будет машина? Будете к нам сюда добираться с комфортом, а не в электричке трястись. А деньги заработаем. Надо только придумать как.

Гриша все это время сидел на диване на другом конце веранды и читал оранжевый томик Майн Рида, который ему привез из Москвы папа, потому что все книги, что были на даче, и даже подборку журналов «Приусадебное хозяйство» Асиного дедушки он уже прочитал и маялся от скуки. Не прыгать же в резиночку с Асей.

– Пап, а ты привез что-то сладенькое?

– Прости, дружок-пирожок, и так сумки были неподъемные. Завтра на станцию сходим, купим мороженое.

– Ну пап, – заныл Гриша, – ты же обещал…

– Андрюш, а сметану? – спросила мама.

– Привез. Целый литр.

– И лимоны?

– И лимоны.

– Гриш, не переживай. – Мама повернулась к Грише. – Я в «Бурде» вычитала новый рецепт – торт сметанник, выглядит потрясающе. Том, у тебя форма для выпекания тут есть?

– Вот этого добра у нас хоть отбавляй, – отозвалась тетя Тома и, отложив в сторону нож, полезла в нижнее отделение кухонного шкафа. – Мама много пекла, у нее тут даже кондитерский набор где-то валялся…

Погремев кастрюлями и сковородками, тетя Тома вынырнула из шкафа, держа в каждой руке по круглой форме – одна была ровная, а другая в виде цветка с лепестками по краям.

– Подойдет?

– То, что доктор прописал! – обрадовалась мама. – Сейчас, Гриш, папу покормлю и начну.

– Жень, – тетя Тома присела с формами к столу. – А сложный рецепт?

– Нет, там ничего сложного. Самое главное – сметана и лимонная цедра, а какао я вчера на станции купила. Коржи тонкие, быстро пекутся. Пишут, что минут пятьдесят на все про все.

– Ну вот и решили! – Тетя Тома весело помахала формами, словно бубнами. – Так на машину вам и заработаем.

У Гриши с папой было свое задание – ездить на перекличку. Раз в месяц они садились на двадцать шестой трамвай, ехали до конечной, до дальнего метро, там плутали меж больших домов из бежевого кирпича, завернутых как бы внутрь себя, буквой П, пока наконец не выходили к детской площадке. Здесь, среди песочниц и качелей, и осуществлялась эта странная процедура.

Перекличку вел папа, он был десятником. Хотя на самом деле очередь была разбита на группы по пятьдесят человек, так что правильнее было бы называть его пятидесятником, но это было не главное. Главным было то, что у них теперь будет машина.

Гриша с гордостью наблюдал, как перед папой выстраиваются солидные дяди с портфелями, выпрямляются по струнке, будто на линейке на физкультуре, и смотрят преданными

глазами. Еще чуть-чуть, и папа прогремит, как Одуванчик в начале урока: «На первый-второй ра-а-ас-считайсь!»

Папа же доставал из сумки толстую тетрадь на спирали и отмечал.

– Григорьев!

– Я.

– Антоненко.

– Здесь.

– Макеев.

– Я сегодня за Макеева. Я свекор. У Михаила дежурство, сутки.

Обычно после переклички кто-то из отмечающихся подвозил Гришу с папой домой, ведь папа теперь был важным человеком. Чаще всего их вез Вячеслав Леонидович, добрый дядька с веснушчатыми руками – это он отмечался за затя, у которого были дежурства в больнице. За окном было промозгло и холодно, а в машине тепло, и так маняще пахло бензином, и так весело качался на зеркале дальнего видения брелок с кубик-рубиком, что у Гриши перехватывало дыхание от мысли, что скоро машина будет и у них. Гриша жадно смотрел, как мимо пролетали фонарные столбы, светофоры и магазинные вывески – галантерея, тысяча мелочей, обувь. Но с еще большим удовольствием он заглядывал в окна домов, особенно если дело было вечером, и додумывал, что там внутри.

– А мы на нашей машине в Крым поедем, – похвастался Гриша с заднего сиденья.

– Вот молодцы. У меня там приятель живет, в гости зовет. Там арбузы такие сладкие, что губы слипаются. Вы на ЮБК?

– Нет! – гордо отрапортовал Гришка, а потом замялся. – А что это такое?

– ЮБК – это южный берег Крыма, – усмехнулся папа. – Мы еще точно не решили.

Гриша водил рукой по сиденью, которое у Вячеслава Леонидовича было обито мягкой, пушистой тканью, напоминавшей шерсть покойного Моцарта.

– Пап, а у нас такая же обивка будет?

В начале января в классе отмечали день рождения Абрикосика, Олега Абрикосова. Гриша помнил его еще с детского сада, где Абрикосик прославился тем, что приносил в термосе свою еду, грыз ногти, сидел целыми днями у окна и плакал по маме, размазывая сопли по лицу.

В первый школьный день их посадили вместе, но дружба сразу не задалась. Абрикосик, такой же хилый и щуплый, как и в детском саду, все так же таскал с собой термос, правда теперь уже не с супом, а с чаем, и все так же грыз ногти. Он с ходу принялся хвастаться новыми фломастерами, а потом вытянул в проход между партами ноги и показал гэдээровские кроссовки на липучках, которые ему достал папа. Папа у Олежки, о чем тот не преминул проинформировать Гришу, даже не вынув пальцы изо рта, работал в райкоме.

Через несколько дней Абрикосика пересадили. Приходила его толстая мама и жаловалась Раисе, что Олежке дует от окна, а ему заболеть ни в коем случае нельзя, потому что вы не представляете, Раиса Григорьевна, сколько мы уже с ним натерпелись. Гриша сам к окну претензий не имел, но вся эта канитель его задела, получалось, что Олежке заболеть было нельзя, а Гриша – бог с ним, пусть простужается. Особенно Гришу покоробило то, как учительница расплывалась и заискивала перед Абрикосиковой мамой, только что свой учительский стол Олежке не отдала.

Рассадить их рассадили, но на физкультуре Одуванчик по-прежнему ставил их в пару. Таких удивительно неспособных к спорту детей в классе было трое – Гриша с Олежкой и Ася Авербах. Из мальчиков Олежка был самым маленьким в классе, с тоненькими, как спички, ногами и покрытыми диатезом руками. С перекладины, на которую его, замершего от страха, подвешивал Одуванчик, Олежка соскальзывал и ухал вниз, на мат в ту же самую секунду,

когда учитель отнимал руки. На втором круге бега по спортзалу Олежка уже выдыхался, и, конечно, ни о каком отжимании не могло быть и речи. Гриша же был для своего возраста хорошо сложен, но совершенно не спортивен – координация движений у него отсутствовала, и когда нужно было повернуться направо, он поворачивался налево, когда нужно было бежать приставным шагом, он долго не мог сообразить, куда что нужно было приставлять. А главное, он постоянно находился в каком-то другом, параллельном измерении, и толку от Гриши на физкультуре было не больше, чем от Олежки. Однажды, когда они бежали эстафету вокруг школы, Гриша, погруженный в свои, видимо, невероятно интересные мысли, позабыл передать Олежке эстафетную палочку, не остановился и пошел на второй круг, не обращая внимания на гвалт одноклассников и сердитые свистки Одуванчика.

– Голова у Школьника не на то место прикручена, – ругался тот.

В конце первой четверти и Гриша, и Олежка получили по справедливому трояку – спасибо, что не по паре. Только в школу опять наведалась Олежкина мама, и его тройка в журнале удивительным образом преобразовалась в пятерку, а Гришина так и осталась тройкой – выпуклой и жирной.

И вот теперь, когда в очередной раз в школу пожаловала Олежкина мама, пусть и со сладостями для дня рождения, Гришу аж передернуло.

Она заявилась на последнем уроке. Полная, в белом свитере и серой меховой шапке, с оттопыренными в разные стороны руками, с которых свисали пакеты и сумки, она была похожа на пингвина. Поздоровавшись с Раисой Григорьевной, мама Абрикосика с трудом разместила свои многочисленные пакеты на учительском столе и принялась раздавать угощение. Она неуклюже протискивалась между рядами и, будто фея, толстая фея, выдавала каждому дары: сначала мандарин, крупный, пахучий, небось с рынка, потом несколько развесных конфет, которые она доставала из отдельного шелестящего целлофанового пакета, но самым главным сокровищем была жвачка – «Дональд Дак» со вкладышем.

Гриша, все так же сидевший в самом левом ряду, да еще и на предпоследней парте, ерзал на стуле, с замиранием сердца наблюдал, как стремительно пустели пакеты Абрикосиковой мамы, и опасался, что на него не хватит, точно не хватит «Дональдов», он же по жизни невезучий. Но жвачки, слава богу, хватило – Грише досталась ярко-красная. И хоть Раиса Григорьевна запретила не то что жевать, но даже разворачивать их в школе, про понюхать она ничего не говорила, и Гриша самозабвенно вдыхал аромат жвачки, которая пахла чем-то сладостным, фруктовым, манящим. Страшно хотелось поглядеть на вкладыш, спрятанный внутри, но Гриша боялся Раисы.

Счастливый же именинник вертелся за партой, наблюдая за всем этим церемониалом, дрыгал ногами, которые не дотягивались до пола, сиял и переливался от гордости и важности, точно обертка от «Дональда». Еще чуть-чуть, и он сам лопнет, как пузырь бабл-гама, хмуро подумал Гриша.

Когда все конфеты и жвачки были розданы, а Раиса Григорьевна в очередной раз цыкнула на класс, чтобы пока никто еще не начинал есть, Олежкина мама пустилась по второму кругу с тортом, и тут Гришу ждало потрясение. Торт – в этом не было никаких сомнений – был мамин, ее знаменитый сметанник: сложенные друг на друга коржи, лимонный крем, шоколадная стружка, а главное – эмалированная форма, белая, в редкий цветочек, с чуть сколотым краем. Вот почему позавчера внезапно прибежала тетя Тома – вот, значит, что это у них был за срочный заказ.

У Гриши все клокотало внутри от того, как восторженно хихикали и облизывались дети, получая на большой красной салфетке, тоже наверняка заграничной, кусок торта, его, Гришиного, кровного. Раисе при этом досталась двойная порция и конфет, и торта, и это, конечно, тоже было в корне несправедливо – разве не твердила Раиса на каждом шагу, что в нашей стране все равны? А для самого именинника был припасен какой-то особенный, диетический

торт, потому что у Олежки на все была аллергия. Его мама достала этот торт из отдельного пакета и протянула Олежке не на салфетке, как всем, а на цветастой бумажной тарелке, и это Олежкино превосходство в очередной раз кольнуло Гришу в и так уже израненное сердце.